

Annotation

Робин Грант — потерянная душа, когда-то он любил девушку, но она вышла за другого. А Робин стал университетским отшельником, вечным аспирантом. Научная карьера ему не светит, а реальный мир кажется средоточием тоски и уродства. Но у Робина есть отдушина — рассказы, которые он пишет, забавные и мрачные, странные, как он сам. Робин ищет любви, но когда она оказывается перед ним, он проходит мимо — то ли не замечая, то ли отвергая. Собственно, Робин не знает, нужна ли ему любовь, или хватит ее прикосновения? А жизнь, словно стремясь усугубить его сомнения, показывает ему сюрреалистическую изнанку любви, раскрашенную в мрачные и нелепые тона. Что есть любовь? Мимолетное счастье, большая удача или слабость, в которой нуждаются лишь неудачники?

Джонатан Коу рассказывает странную историю, связывающую воедино события в жизни Робина с его рассказами, финал ее одним может показаться комичным, а другим — безысходно трагичным, но каждый обязательно почувствует удивительное настроение, которым пронизана книга: меланхоличное, тревожное и лукавое. «Прикосновение к любви» — второй роман Д. Коу, автора «Дома сна» и «Случайной женщины», после него о Коу заговорили как об одном из самых серьезных и оригинальных писателей современности. Как и все книги Коу, «Прикосновение к любви» — не просто развлечение, оторванное от жизни, а скорее отражение нашего странного мира.

- [ДЖОНАТАН КОУ](#)
 - [Замечание от автора](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Постскриптум](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)



ДЖОНАТАН КОУ

Прикосновение к любви

Замечание от автора

Мне хотелось бы поблагодарить Мишель О'Лири за возможность написать роман об адвокате, а также Пипа Лэтти — за то, что познакомил меня с романом Симоны Вайль, который оказал большое влияние на эту книгу.

Рукопись на различных этапах готовности читали мои друзья, и мнение их оказалось весьма полезным; но два человека были особенно щедры в похвале и критике. Вот их имена — Нуала Марри (первая половина книги) и Ральф Пайт (вторая половина). Большое им спасибо, а также, чуть не забыл, спасибо Анне Хейкрафт, чьи советы были прозорливыми и ценными.

Я также благодарен Эмме Кроферд, в чьем переводе читал роман «Бремя и благодать» Симоны Вайль.

Часть первая

Встреча разумов

Четверг, 17 апреля 1986 г.

— Дорогая, не говори глупостей, конечно, никакой ядерной войны не будет.

...

— Я как раз подъезжаю к развязке 21. Через двадцать минут должен быть в Ковентри. Мне надо заскочить в университет.

...

— Да не слушай ты его. Он ничего не понимает. Этим миром управляют душевно здоровые и разумные люди, такие, как мы с тобой.

...

— Я тоже по тебе скучаю. Поцелуй за меня Питера. И скажи ему, что я...

...

— Что? Нет, какой-то маньяк меня подрезал. Некоторые несутся под девяносто миль в час. Не понимаю, почему полиция их не хватает.

...

— Не знаю, успею ли заскочить к нему. Вряд ли, если я хочу сегодня добраться до дома.

...

— Да и вообще, что я ему скажу? Я его столько лет не видел. Даже забыл, как он выглядит.

...

— Нет, я не понимаю, почему мы должны разрешить ему пожить в нашем загородном домике. Мы купили его для себя, а не чтобы селить в нем чужих.

...

— Что значит — у него был странный голос?

...

— Дорогая, он ничего не понимает. И ты тоже. Ливия, Сирия, Америка, Россия — положение очень запутанное. Если ты в самом деле думаешь, что мир готов ввергнуться в войну, то... ну, тогда я конечно приеду домой.

...

— Ладно, давай адрес.

...

— Да, заскочу вечером после университета. Это значит, что домой я раньше десяти не попаду. А может быть, и позже. Нет, я сам найду, у меня есть с собой карта.

...

— Только не паникуй. Не смотри новости, если они тебя расстраивают.

...

— Я сам скажу ему по поводу домика. Сомневаюсь, что с ним что-то не так. Возможно, он перетруился. Знаешь, как бывает со студентами — неделями ничего не делают, а затем не ложатся спать до рассвета.

...

— Не волнуйся. Я все сделаю.

...

— Ты тоже.

...

— Целую, целую.

* * *

Тед съехал с развязки 21 и повернул на шоссе М69. Он давно пришел к выводу, что самое главное — это поддерживать с клиентами добрые отношения. Он почти не рассчитывал на то, что университет сделает еще одну покупку, но после разговора с доктором Фаулером прошло несколько недель, и ему хотелось проверить эффективность новой системы. Убедившись, что средняя полоса пуста, он позволил себе скосить взгляд на пассажирское сиденье, на папку, в которой лежали личные сведения о клиентах. Левой рукой он принялся листать страницы, пока не добрался до буквы «Ф». Фаулер, доктор, Стивен. Женат, двое детей: Пол и Никола. 24 марта Никола ходила к зубному врачу. Два удаленных зуба. Теперь есть с чего начать разговор. («Стив! Рад снова вас видеть. Решил вот заскочить. Да так, оказался поблизости. Как жена и дети? Надеюсь, зубы у малышки Никки больше не болят? Хорошо. Рад слышать...»)

В студгородок он приехал незадолго до пяти, но доктор Фаулер уже ушел домой. Записка на двери его кабинета извещала, что желающие получить консультацию могут застать его завтра утром.

На автостоянку Тед возвращался круглым путем, с удивлением ловя

себя на том, что наслаждается вечерним солнцем и непривычным ощущением, возникшим от того, что вокруг молодые люди. Подойдя к машине, он не стал залезать внутрь, а устроился на капоте и огляделся. К встрече с доктором Фаулером он готовился с той самой целеустремленностью, что позволила ему недавно второй раз подряд получить самое желанное в фирме звание «Торговец года», так что только теперь он смог всерьез задуматься о телефонном звонке Кэтрин. Ничего приятного звонок не сулил. У Теда не было никакого желания вновь встречаться с Робинем, иначе он давно бы уже навестил его — в один из своих предыдущих приездов в университет. Меньше всего ему хотелось взваливать на себя заботы о Робине — а такое вполне вероятно, если Кэтрин права и у того и впрямь серьезные проблемы.

Хотя, с другой стороны, она ведь всегда преувеличивает.

Теду не улыбалось ввязываться в это дело безоружным, он сознавал, что отчасти его беспокойство объясняется недостатком информации. Встретиться с Робинем сейчас, после четырех лет, о которых он ничего не знает, — это все равно что встретиться с незнакомцем.

Тед еще какое-то время размышлял, затем достал папку и открыл ее на букве «Г». Страницы мягко шелестели на ветру. Вскоре он записал о своем старом друге все, что знал.

Грант, Робин.

В 1981 г. окончил Кембридж. В последний раз видел его на свадьбе в 1982 г.

Посылал ему открытки на Рождество и письма с новостями о нашей семье. (NB: он поэтому знает о домике?)

Семья: мать, отец, одна сестра. В настоящее время работает над диссертацией — уже 4 (?) года.

Утверждают, что голос у него звучит «странно» и «удрученно».

Сказал, что ему нужен отдых.

Острая реакция на события последних двух дней: говорит, что не следовало посылать в Ливию бомбардировщики.

Тед отложил ручку, нахмурился и почувствовал себя совсем уж скверно. За четыре года человек может сильно измениться. Он надеялся, что Робин не ударился в политику.

Въезжая в юго-западные пригороды Ковентри, Тед остановился, чтобы изучить карту в атласе, и обнаружил, что нужной страницы нет. Книжица

распадалась на части, и он уже больше месяца собирался ее заменить, так что винить следовало только себя. Разумнее всего было бы расспросить какого-нибудь прохожего. Но Тед предпочел наугад петлять по переулкам, разглядывать дома и слушать чириканье птиц, мешавшееся с музыкой из радиоприемника, послушного его опытной руке. Все, что угодно, только бы отдалить встречу.

Через несколько минут, обогнав парочку пешеходов, не вызвавших у него никакой симпатии — по причинам разным, но одинаково иррациональным, — Тед увидел девушку, быстро шагавшую в попутном направлении. Тед посигналил. Девушка вздрогнула, обернулась, и Тед с огорчением обнаружил, что это индианка. Вряд ли она поймет, о чем он ее спрашивает. Но менять решение было поздно, девушка уже поравнялась с открытым окошком.

— Да? — сердито спросила она.

Тед посмотрел в настороженные, враждебные глаза. На какой-то миг он даже растерялся, осознав, что связался с личностью незаурядной и сильной. Он опустил глаза и увидел, что на левой манжете не хватает пуговицы.

— Я просто хотел узнать, не могли бы вы мне подсказать, — забормотал Тед, — как найти... — и он назвал улицу, на которой жил Робин.

— Где? — спросила девушка, и как отметил Тед, скорее удивленно, чем непонимающе.

— Здесь.

Он неловко пролистал папку и нашел клочок с адресом, который накорябал сразу после разговора с Кэтрин. Тед протянул девушке бумажку.

— Я только что оттуда, — сказала она. — Вам нужен Робин?

— Да.

— Это сразу за углом. Надеюсь, вам его компания доставит больше удовольствия, чем мне.

И девушка зашагала прочь — поплотнее запахнув пальто и сунув руки в карманы, несмотря на теплый вечер. Несколько секунд Тед растерянно смотрел ей вслед, затем спохватился, высунул голову в окно и крикнул:

— Робин Грант? Вы знакомы? Вы его подруга?

Девушка не остановилась, не замедлила шаг и даже ни повысила голос; ее ответ можно было разобрать с большим трудом.

— Откуда мне знать?

Тед смотрел вслед тающей вдали фигуре, пока у него не заболели глаза. Он словно оцепенел от смущения. Затем медленно, с еще большей

неохотой, развернулся в три приема и въехал в переулок, на который указала девушка.

По адресу, записанному на клочке, находилось типовое высокое здание, выкрашенное в тоскливый мышастый цвет, от тротуара его отделяла унылая полоска чахлого палисадника. Тед вышел из машины, запер дверцу. Тихая улочка была вся обрызгана ласковым вечерним солнцем. Тед перекинул пиджак через плечо, ослабил галстук, подошел к двери и нажал на звонок, помеченный «Грант Р.»

Некоторое время ничего не происходило. Потом донесся далекий звук открываемой двери, шаги, за матовым стеклом мелькнула тень, входная дверь отворилась, и на Теда уставилось незнакомое, бледное, небритое лицо.

— Робин?

— Заходи.

— Ты звонил Кэтрин. Она сказала, что я приеду?

— Да. Заходи.

Робин молча повел Теда из света в сумрачный коридор, мимо подножия крутой лестницы, к двери справа. Его квартира оказалась совсем уж мрачной: шторы задернуты, воздух сперт и провонял табаком. Когда глаза привыкли к темноте, Тед внимательно осмотрел скудно обставленную комнату — и неприбранную кровать у стены, у повсюду раскиданную одежду, и две книжные полки, забитые под завязку, и три красных блокнота, лежавших стопкой. На каминной полке стоял приемник, настроенный на Радио-4: бесстрастный мужской голос рассказывал о последних событиях в Триполи и Вестминстере.^[1]

— Ты что, не ждал меня так скоро? — спросил Тед.

— Прости. Я потерял счет времени. Садись.

Робин расчистил диван, скинув на пол груды рубашек и трусов.

— Ну, Робин, — начал Тед, разглядывая его и спрашивая себя, почему тот не одет (Робин был в одном лишь банном халате красного цвета и шлепанцах), — вот мы и встретились, и обстоятельства ныне совсем другие...

— Как Кейт? — спросил Робин.

— С ней все хорошо. Все очень-очень хорошо... Забавно, — добавил Тед, чтобы нарушить неловкое молчание, — ..я тут остановился спросить дорогу и заговорил с твоей знакомой.

— Да?

— Да. Она мне показалась немножко... азиаткой.

— Ее зовут Апарна.

— По-моему, ужасно красивая женщина. Это тебя она навещала?

— Да.

— Что ж, похоже, в друзьях у тебя недостатка нет, Робин.

— Мы поссорились.

— Да? Надеюсь, ничего серьезного?

— Очень серьезно. Из-за книги.

Снова повисла тишина. Тед, профессиональный манипулятор, знающий, как завоевать доверие собеседника, чувствовал, что не может совладать с апатичным минимализмом Робина. Однако, к его счастью, разговор вдруг вывернул в другое русло.

— Кстати, Тед, я говорил с Кейт по поводу домика, и, похоже, она считает, что никаких сложностей с этим не будет. Надеюсь, ты привез с собой ключи?

Замешательство Теда было слишком сильным, чтобы он мог с ходу ответить на такой вопрос. Робин сел на кровать, стоявшую напротив дивана, и продолжил (голосом ровным, бесстрастным, монотонным):

— Знаешь, если бы я не мог куда-нибудь уехать, то, наверное, сошел бы с ума. Или произошло что-нибудь еще. Я чувствую себя таким уставшим. Думаю, мне надо отоспаться. Думаю, мне надо отдохнуть. Мне надо уехать. Побывать одному. Я напуган. Я не понимаю, что делаю. Последние дни я не понимаю, что делаю. Я не знаю, где был. Я зашел в магазин. Я взял тюбик зубной пасты и вышел. Та женщина побежала за мной. Она сказала: «Вы не заплатили». Я повредил палец. Споткнулся на лестнице и повредил палец. Я вымотан. Мне холодно. Я голоден. Я всегда голоден. Я поставил в духовку замороженный пирог и достал его через полчаса, но я не включил духовку. Забыл. Я ел хлеб. Я слушаю радио и не верю своим ушам. Она разрешила им воспользоваться нашими авиабазами. Они летали с наших авиабаз бомбить Ливию. Я боюсь. Я должен уехать. Я всегда хотел вернуться на Озера. Там тихо и чисто, и я был там в детстве. Я ездил туда с семьей. С родителями и сестрой. Одна из мыслей, которые преследуют меня последние дни, — я так скучаю по своим родным. Как глупо, что я вот так отрезал себя от них. Если я не смогу пожить в твоём домике, я им напишу, спрошу, нельзя ли мне вернуться домой, пожить у них. Но так будет лучше. Гораздо лучше.

Возможно, этот монолог и тронул бы человека помягче, чем Тед. На самом деле такой монолог мог тронуть даже Теда, если бы он слушал. Но Тед с ужасом разглядывал хаос в квартире Робина и думал про домик в Озерном крае, и чем дольше он разглядывал и думал, тем сильнее становилась его решимость. Они купили этот домик на деньги, оставшиеся

после смерти матери Кэтрин в 1983 году. Он тогда смог осуществить свою мечту, и Озерный край перевесил Корнуолл. Домик стоял недалеко от шоссе, соединяющего Торвер и Конистон, и от чудесного вида на водные просторы его отделяла лишь полоска дремучего соснового бора шириной в полмили. Тед с Кэтрин опасались, что поначалу местные жители отнесутся к их появлению как к вторжению, но, к счастью, без труда вписались в тамошнее общество: единственные соседи — живущие через дорогу Бернеты — оказались очаровательной супружеской парой из Харроу, всегда готовой составить компанию для партии в бридж. Тед не желал подрывать свое положение среди этих людей, пригласив сомнительного знакомого, который ведь явно же понятия не имеет, как нужно заботиться о собственности. Глаза Теда, привыкшие наблюдать за хозяйственным усердием Кэтрин, быстро углядели и грязь, въевшуюся в плинтус, и пепел на ковре, и паутину по углам. Разумеется, нельзя говорить, что именно неряшливость Робина — истинная причина отказа. Тут требовалась маленькая невинная ложь.

— Дело в том, Робин, — начал Тед, — что Кэтрин немного поторопилась. Наверное, забыла, что сейчас в домике живет моя мать. Она пробудет там еще минимум месяц.

В полной тишине Робин смотрел на него — лицо отсутствующее, взгляд застывший. Тед спросил себя, а слышал ли Робин его слова, воспринял ли их, понял ли его объяснение, вполне обоснованное и достойное. Он попытался сформулировать вопрос: «С тобой все в порядке?», «У тебя какие-то проблемы?» — но фраза почему-то не складывалась. В конце концов Тед услышал свой *голос*:

— Ну, как насчет того, чтобы перекусить?

* * *

Выяснилось, что на кухне нет никакой еды, кроме остатков маргарина и ополовиненного пакетика с размякшим сливочным печеньем. Тед вышел поискать лавку, торгующую рыбой с жареной картошкой. В таких заведениях он не бывал уже несколько лет, а потому поразился, что с него содрали больше трех фунтов. Владелец сообщил, что сейчас это совершенно обычная цена, даже для севера. Вернувшись в квартиру, Тед обнаружил, что Робин не достал чистые столовые приборы и не подогрел тарелки, о чем он его попросил, а сидит за столом и что-то пишет.

— Извини, — сказал Робин. — Я не думал, что ты вернешься так скоро.

Тед отправил его на кухню, а сам тайком глянул на листок. Это было письмо, адресованное матери, и начиналось оно так:

Вероятно, для тебя это станет неожиданностью, но я подумываю о том, чтобы вернуться домой и немного там пожить. Надеюсь, тебе нравится эта идея, в последнее время мы ведь мало общались, но я давно подумываю, как бы было неплохо вновь увидеть вас обоих. Кажется, я в последнее время совершил немало ложных шагов, и теперь мне очень нужно уехать отсюда и все обдумать. Наверное, я не очень ясно выражаюсь, но я попытаюсь объяснить понятнее...

Больше он ничего не написал. Тед недоуменно перечитывал письмо, когда в комнату вернулся Робин. Не желая, чтобы его сочли назойливо любопытным, Тед сделал вид, будто разглядывает красные блокноты.

— Что здесь? — спросил он.

— Рассказы, — ответил Робин.

Он протянул Теду чуть тепловатую тарелку и нож с вилкой.

— Значит, все пишешь?

— Когда как.

— У меня сохранился тот номер студенческого журнала, — и Тед улыбнулся воспоминанию. — Знаешь, тот самый, куда мы вместе пописывали? Там был твой рассказ и моя статейка.

— Не помню.

— Я написал про объектно-ориентированное программирование. Мне еще все говорили, что статья написана с большим юмором.

Робин покачал головой и принялся есть картошку руками.

— Что ты сейчас пишешь?

— Да так, — устало ответил Робин, — цикл рассказов. Честно говоря, не знаю, зачем я их пишу. Здесь четыре связанных друг с другом рассказа. О сексе, дружбе, выборе и тому подобном.

— Четыре? — удивился Тед. — Но я вижу только три блокнотика.

— Один забрала Апарна. Я хотел, чтобы она прочла; она взяла его сегодня днем. — Робин вытащил из пакета кусок трески и пару раз нехотя куснул. Затем вдруг добавил: — Прежде чем что-то сказать, надо хорошо подумать. Ты не согласен?

— Прошу прощения?

— Я говорю, прежде чем что-то сказать, надо хорошо подумать.

— То есть?

С неожиданным дружелюбием Робин подался вперед.

— Слово может быть смертельным оружием. — Он на мгновение замолк, явно довольный фразой — Одно слово может разрушить работу миллиона других. Неуместное слово может погубить что угодно: семью, брак, дружбу.

Теду захотелось спросить, с какой стати Робин считает себя знатоком семейных уз, но он воздержался.

— Не соглашусь с тобой, — только и сказал он.

— Просто я подумал, как же легко оказалось расстроить Апарну. Понимаешь, она показала мне эту книгу. — Робин отодвинул тарелку в сторону — раз и навсегда. — Новую книгу в переплете. Я увидел, что это не библиотечная книга, и решил поддразнить ее. «С каких это пор люди вроде тебя могут себе позволить себе такие книги?» — спросил я. И она ответила, что книгу ей подарил один из авторов, с которым она дружна. Я взял книгу и взглянул на титульную страницу, там стояло два имени, английское и индийское. Тогда я ткнул в индийское имя и спросил: «Наверное, это твой друг?» А она посмотрела на меня, медленно забрала книгу из моих рук и сказала: «Ты только что выдал себя с головой».

Тед недоумевал. Он соображал — сосредоточенно и быстро, стараясь не заплутать в собственных мыслях. Что стряслось с этим человеком, раз они вообще не понимают друг друга? Он всегда считал, что дружба — это встреча разумов, равно как и брак. Они с Кэтрин не только понимали друг друга, когда говорили, но нередко они понимали друг друга, даже когда не говорили. Порой он знал, о чем она думает, еще до того, как она об этом говорила. А она зачастую знала, о чем он подумает, еще до того, как он подумал. Интеллектуальная совместимость — это ведь верная спутница его жизни, непреложный факт его жизни, она вошла в привычку, она — данность, подобно служебному автомобилю или теплице, для которой, как вспомнилось ему вдруг, он собирается купить в эти выходные три новых стекла.

В чем смысл невразумительного рассказа Робина? Вероятно, это как-то связано с тем, что один из авторов книги — индиец, и Апарна по какой-то причине обиделась, что ее связали с этим индийцем. Но ведь Апарна сама индианка? Что за нелепое имя. Если не искать деликатных определений, то ее следует назвать чернявой. У нее темные волосы. Правда, красного пятнышка посреди лба у нее нет, но этому наверняка найдется объяснение. Почему индианка не хочет, чтобы ее связывали с индийцем исходя лишь из того, что они оба индийцы?

И Тед в самой ясной форме задал этот вопрос Робину.

— Не все так просто, — сказал Робин. — Понимаешь, я знаю ее уже четыре года. Когда я здесь появился, она уже была. Она здесь гораздо дольше меня. Шесть лет, семь. — Его речь стала прерывистой, словно он утратил привычку объяснять что-то людям. — Когда Апарна только приехала сюда, она гордилась своим происхождением. Она выставляла его напоказ. Ты видел, как она сегодня одета — она не всегда так одевалась. Кроме того, в те дни она пользовалась известностью, настолько большой известностью, что я ревновал. Разумеется, она всегда находила время для меня. Мы были очень близки, в каком-то смысле. Но все равно, стоило мне заговорить с нею у библиотеки, как тут же подходили люди, здоровались, останавливались поболтать. Мне приходилось из кожи лезть, чтобы вставить хоть слово. К ней подходили не только студенты, но и профессора, преподаватели, библиотекари, повара из столовой. Ты не поверишь. То, что ты видел сегодня, — это всего лишь тень. Теперь она живет одна. В многоквартирном доме на противоположном конце города. На пятнадцатом этаже. Я единственный человек, с кем она видится. Ее все забыли. Она всем наскучила.

Повисла тишина, которая, как казалось Теду, запросто могла продлиться до бесконечности.

— И что? — спросил он.

— Расизм не обязательно должен быть явным. И расизм не обязательно должен быть неожиданным, и он может проявиться в чем угодно. Она устала от того, что ее воспринимают как иностранку; она устала от того, что это первое, на что люди обращают внимание. Она приехала сюда всего лишь работать, защитить диссертацию, но обнаружила, что люди решили украсить ею свою жизнь. «Внести немного колорита», как она говорит. Она старалась изо всех сил, чтобы ее воспринимали всерьез, но ничего не помогало. И теперь она считает, что я такой же, как все. Что даже я воспринимаю ее как все. И она сердита на меня и на остальных; но все равно я помню эту ласковость, эту теплоту, которых я больше ни у кого не встречал.

Тед, который понятия не имел, как реагировать на эти слова, принялся собирать тарелки.

— У тебя никогда не было чувства, — снова заговорил Робин, — будто ты всю свою жизнь принимал неверные решения? Или, что еще хуже, ты никогда в жизни, в сущности, не принимал никаких решений? Ты видишь, что было время, когда ты мог... ну, например, кому-нибудь помочь, но у тебя вечно не хватало смелости? Было такое?

Тед приостановился в дверях кухни.

— Похоже, ты сейчас не в самом лучшем состоянии, Робин.

Робин проследовал за ним на кухню и теперь наблюдал, как тот складывает тарелки в раковину.

— Ты ни разу не спрашивал себя, какой вообще смысл принимать решения, если миром правят маньяки, если все мы зависим от милости чьих-то интересов, над которыми у нас нет никакой власти, если мы не знаем, когда грянет что-то ужасное, война там или что-нибудь еще в этом роде?

— Разумеется, ты совершенно прав. Послушай, Робин, — Тед повернулся к нему и неожиданно спросил: — Послушай, у тебя нет нитки с иглой? У меня тут пуговичка оторвалась.

— Есть. В туалетном столике.

Они вернулись в комнату. Тед нашел иглку, катушку белых ниток и начал вдевать нитку.

— Да ты говори, говори, — предложил он. — Я тебя очень внимательно слушаю.

— Просто я чувствую... Мне нужно уехать и начать все сначала. У тебя никогда не возникало такого чувства?

— Иногда. — У иглки было очень маленькое ушко, и у Теда никак не получалось продеть нитку.

— Я хочу сказать, я просто не знаю, куда ухнули последние несколько лет. Похоже, я так ничего и не достиг, ни в личной жизни, ни в науке, ни в творчестве. Я чувствую, что перестал ориентироваться.

— Да-да, я понимаю.

Тед послунывил кончик нитки, надеясь, что так она легче пролезет в игольное ушко.

— Я больше не вижусь с родными. Я больше не получаю известий от сестры. В университетах больше нельзя найти работу. Я не понимаю, какие выводы получаются из моей диссертации. Мои отношения с женщинами заканчиваются крахом. Всюду я вижу один лишь негатив. Всюду мне видятся сплошные изъяны. Все представляется бесполезной тщетой. Ты понимаешь, что это за чувство?

Тед, который наконец сумел продеть нитку, отыскал в нагрудном кармане запасную пуговицу и теперь снимал рубашку. Ответил он, стягивая рубашку через голову:

— Продолжай-продолжай. Я понимаю, что ты имеешь в виду.

— Я читаю эту книгу Она... ну, я думаю, она кое-что прояснила насчет того, что мне, возможно, предстоит пережить. Эта женщина, она так много

говорит о «я».

— А я — говорит?

— О «я». О чувстве своей личности. Понимаешь, о восприятии самого себя, о понимании, кто ты есть.

— А понятно, — пробормотал Тед.

Ему не удалось затянуть узелок, нитка соскользнула, и теперь надо было начинать все сначала.

— Ты слушаешь?

— Конечно, слушаю. Ты не против, если я на минуточку зажгу свет? У меня тут что-то не получается.

— А ты сам как считаешь? — спросил Робин, пока Тед вставал и включал свет.

— Что я считаю?

— Как, по-твоему, мне поступить?

— Ну... — Тед вновь послуновил нитку, затем сказал: — Может, все дело в твоём одиночестве? Почему бы тебе не завести подружку, а?

— Что?

— Знаешь, человека, который будет убираться у тебя в квартире, а вечерами болтать с тобой. Девушку, не похожую на эту Апарну, которая только и знает, что спорить. Какую-нибудь надёжную, хорошую девушку, умеющую поддержать когда надо.

— И что мне это даст?

Тед уловил в голосе Робина презрительную нотку и, хотя он был занят очередным узелком, поднял взгляд. И очень серьёзно произнес:

— Я знаю одно, Робин. До брака с Кэтрин я никогда не был по-настоящему счастлив.

Робин отвёл глаза.

— Я больше не хочу связываться с женщинами, — сказал он и вышел из комнаты.

Тед отложил иголку, поразмыслил над этими словами и мысленно сделал заметку — не забыть занести их в папку, так как они подтвердили, точнее, пробудили его собственную теорию, которую он однажды составил по поводу Робина. Впрочем, нет, первой эту теорию предложила Кэтрин — ещё в Кембридже.

— Не говори глупостей, — сказал Тед тогда, — Робин такой же нормальный, как ты и я.

Но постепенно эта мысль перестала казаться такой уж невероятной, и Тед преодолел свою первоначальную антипатию к ней. Станным образом эта мысль даже примирила его с дружбой, которая связывала Робина и

Кэтрин, с тем явным удовольствием, какое они получали от общества друг друга. К концу последнего семестра они втроем были практически неразлучны. Однажды Кэтрин сказала:

— Теперь понятно, почему он такой ранимый.

— Ранимый?

— Да. Они всегда очень ранимые.

Позже Тед спросил Робина, действительно ли тот считает, что это так, что они всегда очень ранимые, и Робин ответил, что да, так и есть, и добавил, что некоторые люди, которыми он весьма восхищался, были гомосексуалистами. Теда потрясли эти слова, которые он считал шокирующим признанием. Но он сказал себе: «Ничего страшного, просто он чуть менее удачлив, чем все остальные», и эта демонстрация либерального мышления позволяла ему гордиться собой. Впрочем, и у либерализма имелись свои пределы. Например, Тед никогда бы не оставил Робина в одной комнате с Питером. Тед считал, что там, где речь идет о детях, осторожность никогда не бывает лишней.

Робин вернулся и отдернул занавески на окне рядом со столом. Небо потемнело.

— Полагаю, тебе скоро пора возвращаться.

— Я как раз об этом думаю, — сказал Тед. На самом деле он думал, что удобно заглянуть к доктору Фаулеру завтра с утра пораньше, чтобы ближайший месяц больше не посещать эту унылую часть мира. А еще он думал, что несмотря на тошнотворную обстановку в квартире Робина, есть неплохой шанс заночевать здесь. — Выглядишь ты не ахти, а у меня нет особых причин спешить домой. Давай-ка я звякну Кэтрин и скажу, что приеду утром?

— Как знаешь, — ответил Робин.

Его ответ не очень-то походил на фонтан благодарностей, которых ожидал Тед.

— Тогда, может, прошвырнемся куда-нибудь пропустить по стаканчику? Ты не думаешь, что это тебя немного взбодрит? А еще я мог бы прочесть твой рассказ.

— Ладно, я оденусь.

Пока Тед звонил, Робин нашел на кухне одежду почище и переоделся. Он вернулся в комнату как раз вовремя, чтобы услышать последние слова Теда.

— Кто такой Питер? — спросил он.

— Питер? Не может быть, чтобы я его ни разу не упомянул в одном из своих писем. Наш первенец. Ему два года.

— А. Ну да.

— Да... — Тед улыбнулся. — Чудесный мальчуган.

Робин взял один из блокнотов и сунул в карман брюк.

— Если мы идем, то пошли, — сказал он.

* * *

Теплая ночь в середине апреля; дело близится к одиннадцати. Робин с Тедом только что вышли, из паба и движутся к новой цели, Робин — впереди, Тед старается не отставать. Жители Ковентри спят или готовятся отойти ко сну; но эти двое продолжают идти вперед, тяжело дыша, — два друга, которые больше не друзья.

По Мейфилд-роуд, по Бродвею, через лужайку для игры в шары — месту, где так часто грезил Робин. Здесь он сидел ветреными весенними субботами, наблюдал за супружескими парами, которые развлекались, искусно и весело соревнуясь друг с другом, в своих сверхспортивных ветровках и шерстяных наушниках. Или за стариками, все еще привязанными друг к другу, все еще привязанными к городу, в котором они росли, жили и работали, в котором они родились. Он наблюдал за ними весенними ветреными субботами, чувствуя одновременно презрение и зависть. Ему хотелось быть вместе с ними, хотелось показать собственное умение, ибо когда-то он тоже играл в шары — вместе с матерью, отцом и сестрой. Конечно, долгое отсутствие практики даст о себе знать, поначалу его движения будут слегка неуверенными. И в то же время он желал одного — оставить их, потому что его обжигало прикосновение их испуганных случайных взглядов, мимолетных, но красноречивых взглядов, в которых безошибочно читался вопрос: «Кто этот странный человек и почему он смотрит на нас?»

Через дорогу, в Спенсер-парк Там осенью шумят деревья, и нужно лавировать между детишками, которые сражаются в футбол, обозначив ворота грудами курток Но в этот вечер здесь тихо и пусто, если не считать молодой женщины, выгуливающей пса, — она немного опрометчива, но, наверное, с собакой она чувствует себя в безопасности: как-никак немецкая овчарка, и довольно крупная. Молодая женщина не здоровается и отводит взгляд. А как только она проходит мимо, наступает полное спокойствие. И вот впереди городские огоньки, они манят их, двух товарищей, которым нечего предложить друг другу в смысле товарищества, и шаг их вновь

ускоряется.

По стальному пешеходному мосту через железную дорогу. В столь позднее время составов почти нет, поезда до Лондона, Бирмингема и Оксфорда уже все прошли, но когда эти двое идут по пешеходному мосту, под их ногами грохочет товарняк. Поезд такой длинный и шумный, что говорить невозможно. Ну и хорошо, у них нет желания разговаривать, хотя сторонний наблюдатель, если таковой проходил бы мимо, заметил бы на лице Теда признаки нарастающего беспокойства, гримасу уже сформулированного, но еще не высказанного вопроса. Но Робин не замечает подобных нюансов; он посмеивается про себя над граффити, которые целиком покрывают бортики пешеходного моста, снизу доверху, из конца в конец. «Анархия — единственный выход». «Скажи нет ракетам». «Я видел фнорды».^[2] «Обессилить насильников». «Так много нужно сказать, так мало краски». «Долой азиатов». «Черномазые говно». Кое-что из этой писанины, похоже, привлекает его, но чем именно, остается непонятным его доверенному лицу (к которому он не испытывает никакого доверия), поскольку косые взгляды Теда становятся все более и более недоуменными и настороженными. И все более косыми. Поэтому теперь они не разговаривают — не только словами, но и глазами.

По Гросвенор-роуд, справа пустой склад, слева жилые дома, некоторые заколочены. И вот они шагают по пешеходному тоннелю, а затем по Уорик-роуд, мимо светящихся окон риэлторских агентств, мимо двери переполненного винного бара, из которого выходят люди. Здесь Робин на мгновение замедляет ход, но тут же идет дальше, еще быстрее. Тед останавливается и смущенно оглядывается на дверной проем, а затем устремляется вдогонку. Он догадывается — как раз вовремя, — что замыслил Робин, что является движущей силой и главным побуждением этого стремления вперед: выпивка, много выпивки. Он прямо задает этот вопрос и получает ответ — кивок и молчание. Теперь Робин снова останавливается, на этот раз он смотрит на витрину книжного магазина. Он не обращает внимания на главный стенд с книгами в мягких обложках и иллюстрированными книгами, сосредоточив внимание на объемистом томе, едва видимом в правом углу витрины: «Крах современной литературы» Леонарда Дэвиса. Чтобы привлечь потенциальных покупателей, на обложку прилепнута наклейка, которая гласит, что профессор Дэвис является жителем этих мест. Робин цокает языком.

Торговый центр города пуст. Правда, время от времени попадают нищие, привалившиеся к двери, но их можно встретить даже в самых процветающих городах. На самом деле чаще всего их можно встретить

именно в самых процветающих городах В это время суток центр выглядит призрачно. Построенный для общественный пользы, разработанный специально для толп счастливых покупателей, чтобы они роились, толкались, протискивались и сновали тудасюда: «Смите», «Хэбитат», «Вулвортс», «Би-эйс-эс», «Топ мэн»; но этой ночью здесь всего лишь две фигуры, безмолвные, далекие; звук их шагов отдается эхом от бетонных стен, их тени размываются во флюоресцентном свете. Куда подевались все эти старушки с сумками на колесиках? Где молодые парочки, которые, держась за руки, глазят на витрины? Куда исчезли панки и скинхеды? Надеюсь, они уютно лежат в своих постельках, в типовых одноэтажных домиках или в многоквартирных башнях, в сотнях футов над землей. Впрочем, эти двое вряд ли обратили бы на них внимание, потому что шагают они очень быстро, а Робин даже с беспокойством поглядывает на часы.

Они пересекают Бродгейт, минуют статую леди Годивы и движутся по Тринити-стрит. Тед не знает этого, но они находятся неподалеку от собора; днем здесь можно приятно провести часок-другой, восхищаясь витражами, разглядывая сатерлендские гобелены или изучая (за небольшую плату) голографическую реконструкцию бомбежек — трехмерное акустическое и визуальное приключение, предназначенное для тех, кому повезло не пережить это приключение в реальности. Но единственное, что останется в памяти Теда о соборе, — это темная громада, нависающая справа, пока они пересекают площадь, где-то на задах старой библиотеки. И даже тогда Тед не сообразит, что это был собор, потому что он устал, рассержен и давно бросил задавать вопросы. Излишне говорить, что Робин не имеет привычки делиться сведениями, о которых его не спрашивают. Тем более что Тед давно бросил с любопытством вертеть головой, и весь город кажется ему сырым и холодным адом, один неприглядный район за другим. Потому он даже не заметил, что магазины остались позади, что они пересекли тускло освещенный двор большой, запущенной больницы и вышли на длинную улицу, застроенную нескладными однотипными домами. Однако Тед заметил другое: что лишь один из четырех повстречавшихся за последние несколько минут прохожих, оказался белым; и это обстоятельство не на шутку обеспокоило его.

Вскоре они сворачивают направо, в очень темный переулок. Они останавливаются у двери, которая поначалу кажется дверью дома, затерявшегося в ряду таких же домов. Через стекло сочится тусклое желтоватое свечение. Затем Тед понимает, что над дверью имеется вывеска, что у дома есть название, что перед ними еще один паб. Робин стучит в

стекло — ритмично, словно подает условный сигнал, и к двери подходит человек. Несколько слов, и их впускают.

* * *

— Что происходит? — спросил Тед.

Они сидели в маленьком мрачноватом баре, в компании еще десятка мужчин, большинство из которых Робин, похоже, знал. Все они молчали, средний возраст клиентов, если не считать Робина с Тедом, равнялся примерно шестидесяти двум годам.

— Об этом месте мне рассказал один мой друг, — сказал Робин. — Они запирают входную дверь и разрешают сидеть до трех-четырех утра. Полиция знает, но обычно закрывает глаза.

Тед был потрясен.

— Как часто ты здесь бываешь?

— Не знаю. Пару раз в неделю.

— Тебя так сильно тянет к выпивке?

— Дело не в выпивке. Пить я могу и дома. Дело в компании.

— В компании?! — Тед изумленно огляделся. — Ты только посмотри на этих людей. Одно старичье. У тебя нет с ними ничего общего. Да тут никто даже не разговаривает.

— Лучше так, чем быть одному.

— Но сегодня с тобой я.

Ответа на эту реплику не последовало, поэтому Тед решил, что угодил в точку. Он вдруг заметил, что пьет слишком быстро и почти прикончил вторую порцию джина с тоником, которую Робин ему навязал. Предлагая выпить, Тед имел в виду приятный вечерок за кружкой пива в шумной, молодежной компании. Теперь же он был пьян, ему было скучно и хотелось домой. Робин вертел в руках пустой стакан, прикрыв глаза и развалившись на стуле; голова его клонилась набок, словно демонстрируя воинствующую сосредоточенность.

— Мне кажется, — сказал Тед, — что ты принимаешь эту мелкую ссору слишком близко к сердцу.

— Ссору?

— Размолвку с Апарной. Я так понял, что ты из-за этого такой?

Робин поднял взгляд, глаза его ненадолго ожили.

— Не только.

Тем не менее Тед видел, что снова затронул болезненное место, и, отбросив первоначальную теорию по поводу Робина, спросил себя, не кроется ли в этой дружбе нечто большее, чем он думал поначалу. Решив, что нет никакого смысла говорить обидчиками, он спросил в лоб:

— У тебя с ней роман?

Взгляд Робина был холодным и испытующим.

— С чего ты взял?

— Ну ты говорил, что вы близки.

— Близки, — сказал Робин, а затем добавил: — Были.

— И?

— Это не физическая близость. Полагаю, ты намекаешь именно на это.

— Понятно. Платоническая дружба, — сухо сказал Тед.

— Если утодно.

— Встреча разумов.

Робин замешкался, потом вдруг встал. На какое-то мгновение, испуганно и в то же время с облегчением, Тед решил, что Робин обиделся и хочет уйти, но тот поднялся лишь для того, чтобы вытащить из заднего кармана джинсов красный блокнот.

— Раз уж ты произнес эти слова, — сказал он, — то почему бы тебе не прочитать этот рассказ? Может, тогда ты лучше поймешь, о чем говоришь.

Робин швырнул блокнот на стол и отправился за очередной выпивкой. Помешкав, Тед пододвинул к себе блокнот и опасливо перелистал страницы, заполненные мелким, неряшливым почерком. В Кембридже ему доводилось читать произведения Робина, и они не особо впечатлили его, где-то дома даже завалялись машинописные копии. Во время последнего семестра, незадолго до того как Тед с Кэтрин объявили о помолвке, Робин подарил ей рассказ с довольно слащавым, по мнению Теда, посвящением. Тед смог осилить лишь половину того рассказа. Но этот, в блокноте, выглядел значительно короче, что ж, по крайней мере, можно сделать передышку в беседе, которая становилась все более натянутой.

Тед раскрыл тетрадь на первой странице и начал читать.

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА РОБИНА ГРАНТА

1. Встреча разумов

В Ковентри Рождество.

Разумеется, никто и не питал иллюзий, что оно окажется снежным; единственное, что способен предложить на Рождество этот город, — сырость и серость. Да и в любом случае, снежное Рождество означало бы замерзшие печные трубы и заледеневшие окна.

Оставалось еще четыре недели, или двадцать четыре дня, рождественской торговли, когда Ричард купил последнюю поздравительную открытку. Как вы понимаете, мы имеем дело с весьма организованным человеком. Последняя открытка предназначалась бывшей подружке, и выбрать ее оказалось сложнее всего. Когда ты с кем-то встречаешься, то все просто — покупаешь самую большую и самую дорогую открытку, рисуешь на ней несколько вычурных слов, внизу приписываешь «Целую», суешь ее в почтовый ящик — и все, работа на год вперед выполнена. Но как может простая открытка, даже самая элегантная, самая изящная, выразить всю сложность твоих чувств к женщине, которой ты, по сути дела, не видел уже три года — почти столько же, сколько длилась ваша помолвка (неофициальная)?

В конце концов Ричард выбрал снеговика, запускающего фейерверк в компании северного оленя довольно рассеянного вида.

Как же утомлял торговый центр в это время года. Не потому, что его переполняли люди (толпа успокаивала), и не потому, что Рождество, как ясно даже последнему кретину, превратилось в порочное коммерческое предприятие (и в этом отношении чем оно отличается от прочих всенародных праздников?). Нет, утомляла атмосфера принужденного веселья, которая так угнетала, которая словно окутывала коконом едва сдерживаемой паники и отчаяния. Люди не могут позволить себе выглядеть в Рождество несчастными. В любое другое время года — пожалуйста, но если человек несчастен в Рождество, то в глубине души он понимает, что несчастье его абсолютна. И признаки этой унылой истины читались на каждом втором лице.

Не люблю я эту манеру письма. Ты делаешь вид, будто передаешь мысли персонажей (с помощью некоего дара ясновидения?), когда в действительности это твои собственные мысли, лишь слегка замаскированные. Невыразительный, примитивный прием, который влечет еще и бесчисленные грамматические корявости. Поэтому в будущем я попытаюсь ограничиться честным (честным!) изложением.

Итак, Ричард жил в квартире с двумя спальнями, на тринадцатом этаже башни, в самом поганом районе. Он делил квартиру с другом по имени Майлз. Они были достаточно близки, их связывали кое-какие общие

черты — в числе прочего ленивость и снобизм. Оба учились в университете, расположенном неподалеку. («Неподалеку»! Иногда я задаюсь вопросом, почему я не брошу это дело и не займусь чем-нибудь полезным. Ну какова вероятность, спросим мы, что они окажутся студентами университета, расположенного за четыреста миль от их жилища?) В этом городе оба жили недавно, и оба не были уроженцами центральных графств. Ни один из них не состоял в близких отношениях с представительницами противоположного пола — ни сейчас, ни в обозримом прошлом.

В тот вечер, после того как Ричард отправил открытку бывшей невесте, одолеваемый столь сложными чувствами, полными столь тончайших нюансов неоднозначности и несовместимости, что вы бы умерли со скуки, если бы я попытался их описать, у них с Майлзом вышел спор. Они смотрели новости, и показали сюжет, посвященный Северной Ирландии. То ли одного солдата разорвало на куски или же с ним случилось что-то в этом духе, то ли двух мирных жителей хладнокровно убили рядом с их домом, то ли на глазах у какой-то женщины террористы до смерти забили ее детей-близняшек. Это, в общем-то, не имеет значения для нашей истории. Майлз и Ричард принялись перечислять за и против британского военного присутствия, причем тема эта была близка обоим. Однако вскоре спор вылился в язвительную перепалку, и они обнаружили, что у них имеются фундаментальные разногласия о причинах ирландского конфликта, при этом Майлз настаивал на его религиозной природе, а Ричард утверждал, что конфликт политический. Вскоре разговор перерос в ребяческое упрямство.

— Нет смысла спорить с тобой, — сказал Ричард. — Давай попьем чаю.

— Что значит «нет смысла»? — спросил Майлз, последовав за ним в кухню.

— Я хочу сказать, что всякий раз, когда мы заговариваем о религии, получается одно и то же. Всякий раз я наталкиваюсь на каменную стену твоего долбанутого католицизма.

— Ясно. Значит, считаешь меня фанатиком, да?

— Нет, конечно. Слушай, давай только без обид. Я не хочу ссориться. Просто твое поведение стало вдруг предсказуемым. Да и вообще все теперь предсказуемо. Наши споры вдруг перестали быть спорами, а просто каждый из нас играет определенную роль. Я знаю, что я могу и что не могу тебе сказать, и что бы ты ни сказал, я вынужден спрашивать себя: «Он действительно так думает или просто ему говорят, что ему так следует»

думать?»

Майлз подавленно отозвался от двери:

— Не знал, что ты принимаешь все это близко к сердцу.

— Дело не в тебе, Майлз. Дело в проклятых компромиссах, на которые нам приходится идти каждый день нашей жизни. Мы никогда не постигнем истину, потому что слишком заняты бесконечными уступками. И наступает такой момент, когда ты перестаешь говорить, что думаешь, а говоришь то, что другой хочет услышать. И к каждому контексту ты приспосабливаешь новую истину. С консерваторами ты не говоришь о социализме, а с социалистами не говоришь о консерватизме. Если ты хочешь поговорить о религии, то говоришь то одно, то другое, в зависимости от того, с кем дискутируешь — с буддистом, христианином или атеистом. Если ты спрашиваешь мнение ученого, то строго в научных рамках, если врача — то сугубо в медицинских, если спрашиваешь адвоката — то в юридических. Когда мы становимся социально активными, то сразу приносим честность, цельность и беспристрастность в жертву стремлению избежать конфронтации. — Он вздохнул и закончил: — Это ужасно угнетает.

— Ты говоришь, как один мой друг, — сказал Майлз.

— Правда?

— Да. У меня есть друг, который думает точно так же.

— Как его зовут?

— Карен. Разве я не упоминал при тебе это имя?

— Что-то такое припоминаю.

— Она постоянно жалуется, что ни с кем не может нормально поспорить. — Майлз на мгновение задумался. — Знаешь, вам обязательно надо встретиться.

Еще через несколько минут это предложение изучалось уже всерьез. Но Ричарду не улыбалось встречаться с подругой Майлза. Он утверждал, что разговор, который он имеет в виду, только в том случае будет по-настоящему беспристрастным, по-настоящему бескомпромиссным, если собеседники держат дистанцию. Он предложил обмениваться письмами.

— Хорошо, — согласился Майлз. — Позвоню ей прямо сейчас.

Вскоре он принес весть, что Карен горячо поддержала эту идею.

— Она попросила тебя написать первым, — сказал он, — и она хочет знать, какая страна больший агрессор — Соединенные Штаты или Советский Союз. Она попросила ответить с учетом либерализации в горбачевской России и пояснить, считаешь ли ты этот факт показателем кризиса самоопределения в коммунистических странах вообще. Так

сказать, для затравки.

В ту ночь Ричард не ложился до трех часов, он писал письмо. И чувствовал он себя необычайно свободным. Майлз ничего не рассказал ему о Карен; Ричард знал только, что она женского пола и приблизительно его возраста. Свободный от необходимости приспособливаться к собеседнику, он мог выражать свои мысли честно и до конца, так, как велят ему разум и сердце. Он не знал даже фамилии, не знал, куда отправится письмо. Он просто написал на конверте: «Карен» — и предоставил Майлзу надписать адрес и отправить письмо.

Через три дня пришел ответ. Ричард подобрал письмо, лежавшее на коврике у двери, сел за кухонный стол и оглядел конверт. На нем стоял штамп Бирмингема. Марка — специальный рождественский выпуск. Его имя и адрес впечатаны. Конверт был дорогим.

Вскрыв письмо, он обнаружил десять листов, исписанных крупным, решительным, аккуратным почерком. В тексте было много зачеркиваний, а в одном месте даже замазана целая фраза. Письмо начиналось словами «Уважаемый Ричард», но заканчивалось «С наилучшими пожеланиями. С нетерпением жду ответа». (Свое письмо он закончил чисто формальным «с уважением».)

Изучив эти подробности, Ричард взялся за само письмо.

Ее анализ последних событий в странах Восточного блока был отмечен одновременно проницательностью и хорошей информированностью. Кроме того, письмо было буквально пропитано воинственным антиамериканизмом, который немного напугал Ричарда. Основной тезис рассуждений Карен сводился к тому, что цена, которую Горбачев может заплатить за либерализацию Советской России, — это ее американизация, и такой исход Карен считала безоговорочной победой общества потребления. Потребительство и агрессия — это, по ее мнению, две стороны одной медали.

По правде говоря, где-то к середине письма Ричард заскучал. Ему вдруг пришло в голову, что он наверняка имеет дело со студенткой, изучающей политологию, и хотя ему, как и всем остальным, нравились дискуссии на политические темы, студенты-политологи, насколько он мог судить по собственному опыту, были самыми невыносимыми людьми на земле. Но к концу письмо снова заинтересовало его — когда Карен начала рассуждать о влиянии средств массовой информации на отношения между супердержавами и вообще на общепринятые формы политических отношений. Ричард видел, как вывести эти рассуждения на более широкую тему о распаде традиционных видов передачи информации, особо выделив

воздействие такого процесса на литературу. Ему больше не хотелось писать о политике, поскольку он подозревал, что в этой области она его превзойдет.

Следующее его письмо начиналось так:

Уважаемая Карен,

Большое спасибо за интересное и продуманное письмо. Вы не можете поверить, как я рад обрести такого корреспондента; бывают времена, которые, уверен, знакомы и Вам, когда ты просто не можешь быть откровенен даже (и особенно) с друзьями, и хотя интеллектуальную среду университета я нахожу вполне стимулирующей, мне кажется, что наши дискуссии в итоге принесут куда большую пользу. Кроме того, я считаю, что различия в складе ума непременно сделают наш спор плодотворным: я специализируюсь на английском языке и литературе, тогда как Вы (я сделал такой вывод — или Вы сочтете нужным меня поправить?), по всей вероятности, изучаете или политологию, или историю. Было бы слишком скучно, слишком непродуктивно, если бы мы практиковали одинаковые подходы к каждой теме, но я знаю, я чувствую, что такого не произойдет.

Ответ Карен пришел с обратной почтой, после чего переписка продолжалась без перерыва две следующие недели. В течение этого срока обсуждались — с различной степенью введливости — следующие темы: политика (опять); упадок государства всеобщего благоденствия с упором на работу Национальной службы здравоохранения; половая дискриминация, ее происхождение и последствия; религия; астрология; мода; отношения между людьми. Соответственно, через две недели Ричард в той или иной степени был уверен в следующем: Карен — социалистка; носит очки, прописанные Национальной службой здравоохранения; блондинка; нерелигиозна; знак Зодиака — Рыбы; брюки предпочитает юбкам, как правило, джинсы; не пользуется косметикой; любимые цвета — красный и синий; у нее было два любовника, но уже более года она ни с кем не встречается.

Тут они столкнулись с непредвиденной проблемой. До Рождества оставалось всего десять дней, и хотя ни Карен, ни Ричард пока не собирались ехать к родителям (Карен, как выяснилось, на самом деле изучала историю искусств в Бирмингемском университете), приближение праздничного сезона тем не менее грозило нарушить их переписку. Из-за того что почта не справлялась с резко возросшим объемом почтовых

отправлений, доставка писем растягивалась на три дня. Ричарду подобная отсрочка казалась невыносимой, и потому в постскриптуме к очередному письму он предложил — разумеется, исключительно в качестве временной меры — продолжить общение по телефону.

Через три дня Карен ему позвонила.

Конечно же, у нее оказался такой очаровательный голос. Если Ричард не ошибался, угадывался легкий шотландский акцент. Звук «р» ласкал ухо раскатистой протяжностью в таких словах, как «структурализм» и «Деррида» (ибо начали они с обсуждения теории литературы), приятная гортанная интонация оттеняла такие фразы, как «заговор режиссеров авторского кинематографа» и «камера как вуайерист» (ибо закончили они обсуждением эстетики кинематографа). Ричард спросил себя, не раздражает ли Карен его слишком уж явный околондонский акцент.

— Ну, до свидания, — сказала она минут через сорок.

— Завтра в то же время? — спросил он.

— Хорошо. Было приятно с тобой поговорить.

— А мне с тобой.

— Значит, пока не едешь домой на Рождество? — спросила она после неловкой паузы.

— Нет, пока не еду.

— Много получил рождественских открыток?

— Немного. А ты?

— Тоже немного.

Ричард никогда не получал много рождественских открыток — точно меньше, чем посылал, а посылал он всегда не больше дюжины. Пока на его каминной полке лежала всего одна открытка — от соседей, небольшого, но шумного семейства, с которым они с Майлзом ни разу в жизни не общались. Он даже не знал, как их зовут, поскольку текст открытки просто гласил: «Счастливого Рождества всем в 48-й от всех в 49-й». В этом году, как и в прошлом, он немедленно ответил: «Счастливого Рождества всем в 49-й от всех в 48-й». Ричард знал, что другие его соседи тоже получают каждый год открытку, адресованную «всем в 47-й от всех в 49-й», и потому никак не мог решить, не следует ли ему тоже послать открытку всем в 47-й от всех в 48-й, тем более что они неизменно быстро возвращали комплимент, посылая открытку всем в 49-й от всех в 47-й. (Он так и не поговорил с небольшим шумным семейством, жившим по соседству. Несколько месяцев спустя, вернувшись домой ранним вечером, Ричард обнаружил, что соседская квартира кишит полицией и санитарами. В результате коллективного самоубийства муж застрелил жену, сына, дочь и,

наконец, самого себя. Они оставили записку: «Прощай, жестокий мир, — от всех в 49-й». Этот случай попал в газетные заголовки, а на третьей странице вечернего выпуска поместили фотографию Ричарда.)

Честно говоря, безличный характер общения казался Ричарду удивительно трогательным и задушевным, особенно по сравнению с одной открыткой, что он получил на следующий день, — напыщенное послание от школьного друга, к нему прилагался многословный и непонятно зачем отсканованный отчет о минувшем годе. Ричард наскоро пробежал листок глазами, после чего вскрыл другой конверт, в котором лежала открытка от Карен.

Открытка была большая, с фрагментом картины Моне «Пруд с кувшинками».

«Дорогой друг, — говорилось в ней. — Не самый подходящий сюжет для Рождества, но я подумала, что тебе все равно может понравиться. Желаю очень счастливого Рождества. С любовью, Карен».

Ричард показал открытку Майлзу, который только что вышел к завтраку, и сказал:

— Забавно, мы вообще не говорили о живописи. Интересно, откуда она знает, что я без ума от Моне.

— Я ей сказал.

Ричарду понадобилось некоторое время, чтобы переварить эти слова.

— Ты сказал? Ты имеешь в виду, ты с ней виделся? Когда?

— Около недели назад я ей написал. Я много чего рассказал ей о тебе.

Ричард расстроенно отшвырнул тост.

— Господи, Майлз, ну зачем ты это сделал? Ты же все испортил, нарушил чистоту нашего... опыта. Весь смысл заключался в том, что мы ничего друг о друге не знаем.

— Так она сама меня попросила. Ричард уставился на него:

— Что значит — она тебя попросила? Когда попросила?

— Она мне написала. Прислала письмо с кучей вопросов о тебе.

— Что она сделала?

Несколько минут Ричард размышлял над этим фактом в полной тишине, нарушаемой лишь чавканьем Майлза, пожиравшего хлопья с молоком.

— И?

— Что — и? — спросил Майлз, поднимая взгляд.

— Что ты обо мне рассказал? Что она знает?

— Я ей рассказал, чем ты занимаешься, что ты изучаешь. Я рассказал, откуда ты приехал. Я рассказал о твоих любимых писателях, композиторах,

художниках и поп-группах. Я рассказал, какую ты носишь одежду, какую еду любишь, что любишь пить. Я описал твою личность. Я сказал, что ты немного напыщенный, немного самодовольный, жадноватый, немного высокомерный, но в общем и целом вполне нормальный парень.

— Понятно. Здорово. Значит, теперь нет ничего, чего бы она не знала обо мне. Благодарю покорно. — Тут Ричарда поразила еще одна мысль. — Ты ей рассказал, как я выгляжу?

— Нет.

— Ну, хорошо. Благодарю тебя за сдержанность.

— Я отправил ей фотографию. Знаешь, ту, где ты загораешь на Капри.

Ричард молча встал и ушел к себе в комнату. Позже, тем же утром, он слышал, как Майлз вышел из квартиры. Как только хлопнула входная дверь, он бросился в комнату Майлза и принялся терпеливо и дотошно искать письмо Карен. Оно оказалось запрятано в стопке старых конспектов в самом дальнем ящике. Отрывок, который жадно выхватили его глаза, гласил следующее:

Теперь ты должен мне рассказать все о своем загадочном друге. Я сумела почерпнуть из его писем отрывочные факты и сведения, но он не очень стремится раскрыться. Как он выглядит? Как он разговаривает? Он наверняка с юга. Он показался мне человеком, который высокого мнения о себе, но это высокомерие делает его очень милым.

*Ты можешь спросить, какое отношение все это имеет к нашей якобы строго интеллектуальной переписке. Честно говоря, я сама не думала, что меня когда-нибудь заинтересуют подобные детали. «Какое это имеет значение, — думала я, — когда встречаются разумы?» Но затем, и это, наверное, было неизбежно, за мыслями, идеями, аргументами начала проглядывать **личность**, и очень привлекательная личность. Тогда я решила: к черту, дружба важнее, чем дурацкий научный эксперимент. Так что, пожалуйста, окажи мне любезность, Майлз. Будь Пандаром моей Крессиде; будь Пировичем моей Кларе.^[3] Просто чтобы удовлетворить мое любопытство, только и всего.*

Ричард отложил письмо, чувствуя себя так, будто его предали, он пребывал в диком волнении. Часы до очередного телефонного звонка тянулись с мучительной неспешностью.

В тот вечер они обсуждали политизацию изобразительного искусства в двадцатом веке — в духе тех европейских художников (особенно группы

«Наби»^[4]), которые увязли в полемическом театре. Разговор длился минут двадцать, когда Карен вдруг спросила, знает ли Ричард, что сейчас в бирмингемской галерее «Айкон» проходит выставка, на которой, как утверждается, представлены потрясающие и редкие экземпляры того, что она любит называть «политикой композиции».

— Да, — сказал он. — Я читал о выставке.

— Было бы неплохо сходить на нее вместе. Тогда у нас бы появилась конкретная тема для разговора.

— Что ж, у меня завтра свободный день.

— У меня тоже.

— Тогда давай завтра.

— Порознь, разумеется.

— Разумеется. Ты пойдешь утром, а я во второй половине дня.

— Утром я не могу.

— Я тоже не могу.

— Кроме того, — сказала Карен с едва заметным колебанием, — было бы разумнее поговорить о каких-нибудь конкретных картинах... понимаешь, находясь непосредственно перед ними.

У Ричарда перехватило дыхание.

— Совершенно справедливо, — согласился он.

Они встретились в два часа у книжного киоска. Обменялись парой скомканных фраз, слишком скомканных, чтобы приводить их здесь. При этом они внимательно разглядывали каждую подробность лица и тела собеседника. Выставку они осматривали в течение примерно получаса, их плечи находились в подрагивающей близости друг от друга, их глаза осваивали язык быстрых, смущенных взглядов, их головы то склонялись одна к другой, то отодвигались, в то время как они судорожно пытались заинтересовать себя дискуссией о картинах. В галерее было слишком жарко. Выйдя на улицу, они обнаружили, что идет легкий снежок, засыпает тротуары и машины, тает на рукаве пальто Карен, задерживается на секунду на кончиках ресниц Ричарда. Он взял ее руку, и они пошли сквозь редкую толпу послеполуденных покупателей, пока не поравнялись с дверью закуской, разряженной блесками.

Они выбрали столик на двоих, и тут выяснилось, что они не знают что сказать, такое было впервые. Карен удалось нарушить молчание.

— Ну вот, — сказала она почти со смехом. — Наконец мы встретились.

Они потянулись навстречу друг к другу и взяли за руки. Снег усилился. Из громкоговорителей все громче звучала оркестровая

аранжировка «Однажды в граде царя Давида».

В ночь накануне сочельника Ричард в своей квартире на тринадцатом этаже жилой башни засыпанного снегом Ковентри приготовил для Карен рождественский ужин. В это утро Майлз уехал к родителям, а на следующий день Карен собиралась отправиться в Глазго. Свою последнюю дискуссию они собирались посвятить идеологическому значению Рождества и, в частности, его вкладу в пагубное укрепление роли семьи как основной ячейки патриархального капиталистического общества, но так получилось, что эта тема в разговоре не всплыла. Вместо этого они обменялись подарками и поспорили о сравнительных достоинствах яблочного и клюквенного соусов в качестве приправы к индейке.

Помимо всего прочего, теперь их объединяла боль физического желания, нестерпимое влечение, невыносимое, подобное сладостной пытке. Они медленно раздели друг друга, неловко расстегивая молнии, копошась с пуговицами, мешкая перед неожиданной близостью плоти, которую никогда прежде не видели, никогда прежде не трогали, никогда прежде не целовали. Затем их тела затеяли долгий и замысловатый разговор, осторожно выдвигая различные предложения, конкретизируя их, исследуя, перебирая снова и снова, не гнушаясь приятных обходных путей, продвигаясь в соответствии с неумолимой логикой к внезапному разрешению всех противоречий.

Они лежали спокойно, с час или больше, вжавшись кожа в кожу.

— Тебе удобно, милая? — наконец спросил Ричард.

— Да, — ответила она. — Очень.

Он сходил за переносным телевизором и поставил его в изножье кровати.

— И сейчас удобно, милая?

— Да. — Карен не очень понравилось, что ее называют «милая», но она ничего не сказала. — А тебе удобно?

— Очень.

По телевизору показывали рождественское богослужение. Камера скользнула по ангельским лицам мальчиков из хора и остановилась на мерцающих электрических свечах рядом с витражным стеклом. Ричард с Карен молча смотрели.

— Ты счастлив? — спросила она посреди «Иисуса в яслях».

— Да. А ты?

Их глаза закрылись еще до конца богослужения.

— Это ничего не объясняет, — сказал Тед, едва подавляя

пещерообразный зевок.

— Да? — отозвался Робин. — Разве это не объясняет, почему мы с Апарной никогда не спали друг с другом? Разве это не объясняет то, что тебе представляется любопытным случаем самодисциплины?

— Нет. — Тед осушил стакан и тут же понял, что давно потерял счет выпитому. — Если этот рассказ о чем-то говорит, то как раз о том, что тебе следует сделать.

— И каким образом?

— Ведь у него счастливый конец, так? Робин поднял на него изумленный взгляд.

— Там сказано несколько обиняком, — продолжал Тед, — но я подумал, что финал... в общем, я подумал, что они влюбились друг в друга.

— Ну, если ты предпочитаешь цветистый слог, то да.

— Тогда весь смысл рассказа в том, — заговорил Тед после мучительной паузы, — что этот Робин...

— Его зовут Ричард.

— Ну да, точно, Ричард. Так вот, этот Ричард и эта Кэтрин...

— Карен.

— Ну да, точно. Карен. Эти два человека, наговорив друг другу кучу интеллектуального вздора, наконец образумились и... влюбились.

Робин глубоко вздохнул и с демонстративной терпеливостью сказал:

— Имелось в виду, Тед, что по пути они что-то потеряли.

И Тед ответил:

— Чего-то спать хочется.

Они допили и вышли в сумрачный и жаркий предрассветный сумрак. Они долго шли до дома Робина узкими освещенными улочками, мимо черных зданий, подземными переходами и вытоптанными лужайками в районах муниципальной застройки. Каждый был занят собственными усталыми мыслями, и заговорили они только раз.

— Что там? — спросил Тед.

Робин остановился и посмотрел на яркую точку, где-то на последних этажах многоквартирной высотки на противоположной стороне кольцевой дороги.

— Апарна, — сказал он. — У нее горит свет.

Тед проследил за его взглядом.

— Ты можешь разобрать отсюда?

— Да. Я всегда смотрю, когда прохожу здесь ночью. У нее всегда горит свет.

— Чем она занимается так поздно? Робин не ответил, и Тед, который

не мог заставить себя заинтересоваться этим вопросом всерьез, настаивать не стал. Когда они наконец добрались до квартиры, он молча наблюдал, как Робин, отыскав фонарик, вытягивает из-под кровати выцветший спальный мешок и кладет его на диван.

— Годится?

Тед, постаравшись не содрогнуться, кивнул. Он попытался вызвать в памяти образ своей уютной двуспальной кровати — с одной стороны, откинувшись на подушки, сидит Кэтрин, хмурясь над последними вопросами сложного кроссворда, уголок одеяла приветливо отвернут, торшер лучится теплым розовым светом, регулятор электрического одеяла установлен в среднее положение. В соседней комнате спит Питер.

— У тебя есть будильник? — спросил он.

— Есть, а что?

Тед объяснил, что ему нужно посетить доктора Фаулера, и они завели будильник на девять часов.

— Я могу подбросить тебя до университета, — сказал Тед. — Наверное, у тебя есть там дела.

Робин, который успел раздеться и лечь в постель, ничего не ответил. Тед решил, что он заснул. Но Робин, не спал. Он лежал, слушая, как Тед раздевается и складывает одежду, ворочается, силясь принять удобное положение, вздыхает, как его дыхание выравнивается. Он слушал, пока не установилась полная тишина, пока единственным звуком не стало редкое, сонное бормотание Теда, повторяющего: «Кейт, Кейт».

* * *

Будильник не смог их разбудить, и в университете они появились далеко за полдень. Тед отправился на встречу с доктором Фаулером, а Робин сел пить кофе в одной из многочисленных закусочных на территории университета, но через десять минут Тед вернулся — в дурном настроении. Его клиент уехал на выходные домой, оставив на двери записку, что вернется только во вторник Робин был не один. Рядом с ним сидел седой бородач с покатыми плечами; высокий (под два метра), он тем не менее не выглядел особо внушительным — из-за сильной сутулости, достаточно странной для человека его возраста (по словам Робина, ему было тридцать пять, хотя Тед решил бы, что он гораздо старше). Желтые зубы у него были изъедены коричневыми пятнами. Курил он не переставая.

— Это Хью, — небрежно представил Робин.

Они почти не обращали внимания на Теда, сидели себе бок о бок, погрузившись в чтение. Хью горбился над объемистым библиотечным томом, Робин листал газету. Казалось, это занятие его возбуждает.

— Ты видел? — обратился он к Хью. — Ты видел, что говорят эти маньяки?

Тед понадеялся, что они не заведут политическую дискуссию, и перевел дух, когда Хью не обратил на Робина никакого внимания; вместо этого, оторвав глаза от книги, он выхватил взглядом две фигуры в другом конце кафе.

— Вон Кристофер, — кивнул он, — и профессор Дэвис.

Робин резко обернулся, свернул газету и встал:

— Прошу прощения. Я хочу почитать в уединении.

Когда он поспешно скрылся, Тед повернулся к Хью и спросил, что все это означает.

— Профессор Дэвис заведует факультетом английского языка. Считается, что он научный руководитель Робина. Они избегают друг друга.

— Понятно, — ответил Тед, ничего не поняв. — Вы тоже пишете диссертацию?

— Нет, — сказал Хью. — Свою я закончил восемь лет назад. О Т. С. Элиоте.

— И чем вы с тех пор занимаетесь?

— Чем придется.

И он снова погрузился в чтение.

— Я старинный друг Робина, — сообщил Тед. — Мы не виделись несколько лет. Точнее, со времени окончания Кембриджа. Наверное, он обо мне рассказывал.

— Как, говорите, вас зовут? — спросил Хьюго, отрываясь от книги.

— Тед.

— Нет, по-моему, он не упоминал вашего имени.

Его ответ навел Теда на мысль, что Робин, похоже, постарался окутать свое прошлое таинственностью. Он подался вперед и вполголоса спросил:

— Скажите, вы могли бы назвать Робина своим близким другом?

— Да, довольно близким.

— Тогда объясните, что, по вашему мнению, с ним происходит?

— Происходит? Что вы имеете в виду?

— Как по-вашему, почему с ним это случилось?

— Случилось? Да о чем вы?

Тед понял, что с ним не желают говорить на эту тему. По счастью,

четыре года торговли компьютерными программами научили его — как он полагал — улавливать психологическую подоплеку подобных ситуаций. Поэтому он спросил:

— Когда вы в последний раз видели Робина, если не считать сегодняшнего дня?

— По-моему, около двух недель назад.

— Это нормально.

— Ну, не совсем ненормально.

— Где он был все это время?

— Где он был? А я почему знаю?

Тогда Тед решил сменить тон и перекинулся на спокойные, но настойчивые утверждения:

— Мне кажется, Робин переживает что-то вроде психологического срыва.

Хью отложил книгу, несколько секунд смотрел на Теда, после чего истерически захохотал. Затем столь же внезапно замолк и вновь принялся читать.

— Значит, вы мне не верите? — спросил Тед. — Тогда почему его несколько недель не было в университете? Почему он не спит, не ест, не моется, не бреется? Почему он не выходит из квартиры? Почему он так похудел? И почему он вдруг позвонил мне, самому старому и близкому другу?

— Где, вы сказали, вы познакомились с Робинем? — спросил Хью.

— В Кембридже.

— Так это было четыре года назад. Возможно, с тех пор он изменился. На мой взгляд, в последнее время с ним ничего необычного не происходит. Он часто пропадает на несколько дней. Он часто забывает побриться. От него всегда такой запах. Он студент. Хуже того, он аспирант. Какой смысл сохранять приличный внешний вид?

Логика этого довода была Теду недоступна.

— Робин пишет диссертацию. Вполне уважаемое занятие, не хуже любого другого.

— Какое, к черту, занятие, — весело сказал Хью. — Робин никогда не допишет диссертацию. Я видел десятки таких, как он. Сколько он уже ее пишет? Четыре с половиной года. А вы знаете, что до окончания ему так же далеко, как и тогда?

— Почему?

— Потому что он и не начинал.

К их столику приближался профессор Дэвис. В очках, худой и почти

лысый, он озирался по сторонам, словно с надеждой высматривал какого-то человека, в глубине души зная, что того здесь нет. Шел он с мучительной медлительностью, в одном месте споткнулся о ковер, потом зацепился за пластиковый столик. По пятам за ним следовал Кристофер (на вид примерно того же возраста, что и Робин) с подносом, на котором стояли две чашки кофе и тарелка с одним миндальным печеньем.

— Профессор Дэвис у нас настоящая знаменитость, — сказал Хью. — Вы, наверное, о нем слышали.

Тед счел уместным согласно кивнуть.

— В научных кругах он снискал репутацию иконоборца. Его новая книга «Крах современной литературы» посвящена радикальному и вызывающему анализу последних двадцати лет. Критика приветствовала ее выход, назвав логическим продолжением предыдущей книги «Культура в кризисе», которая посвящена радикальному и вызывающему анализу предыдущих двадцати лет. Мы с ним старые друзья. Мы одновременно пришли в университет.

— Когда это было?

— Шестнадцать лет назад.

Пока Тед размышлял над этим фактом, профессор наконец добрался до их столика, и Хью поспешно пододвинул стул, на который Дэвис опустился с астматическим хрипом. Кристофер придвинул четвертый стул и поставил поднос посреди стола.

— Итак, — заговорил Хью после небольшой паузы, — как самочувствие, профессор? Как дела на факультете?

— Не так плохо, не так плохо, — ответил Дэвис, кладя в чашку сахар.

Ученики, ловившие каждое его слово, глубокомысленно кивнули. Снова наступило молчание. Когда профессор, казалось, собрался опять заговорить, Хью с Кристофером в предвкушении даже подались вперед.

— Вся сложность с кусковым сахаром, — сказал Дэвис, — в том, что двух всегда мало, а трех всегда много. Вы не находите?

И профессор задумчиво глотнул кофе.

— Я вижу, у вас новая книга по эстетике повествования, — сказал Кристофер, беря библиотечную книгу Хью. Он повернулся к Дэвису. — Вы, конечно, читали?

— Мне она кажется слишком немецкой и теоретической, — ответил тот с кроткой улыбкой. — Экземпляр, присланный мне на рецензию, я отдал племяннику из Чиппинг-Содбери.

Кристофер вернул книгу Хью.

— Чем старше становишься, — сказал Дэвис, набив рот печеньем, —

тем меньше пользы видишь в литературной критике.

— Вы считаете, что следует обратиться непосредственно к текстам? — спросил Хью.

— Да, наверное. Хотя чем больше их читаешь, тем менее интересными они кажутся.

— Именно этот тезис вы отстаиваете в своей новой книге, — заметил Кристофер. — Это радикальная и провокационная точка зрения, если позволите мне так высказаться. Дэвис кивнул, позволяя.

— Но означает ли это, — беспечно спросил Хью, — что близится конец литературы в том виде, в каком мы ее знаем?

— В каком мы ее знаем?..

— Какой ее преподают в школах и университетах.

— А! Нет-нет, конечно, нет. Совсем нет. В действительности я думаю... — последовала могучая пауза, неизмеримо превосходящая все предыдущие, —..я думаю... — Дэвис вдруг поднял взгляд, в его глазах сверкнуло озарение. Напряжение, висевшее в воздухе, можно было буквально пощупать. — Я думаю, что неплохо бы съесть еще одну печеньку.

Теду профессор Дэвис понравился сразу. У этого человека начисто отсутствовала заикленность на собственной профессии, что так характерно для большинства ученых. Несмотря на многочисленные попытки Хью и Кристофера вовлечь профессора в мутную научную дискуссию, тот оказывал упорнейшее сопротивление, совершенно явно желая потолковать о компьютерах и о работе Теда. Он даже принялся убеждать Теда, что университет — прекрасное место для проведения следующей выставки-продажи продукции его фирмы, а Тед, в свою очередь, убеждал профессора, что человеку его уровня жизненно необходимо универсальное и гибкое программное обеспечение по обработке текста, которое таит широчайшие возможности. Профессор поразился, сколько рабочего времени способно сэкономить это программное обеспечение, и признался, что давно ищет альтернативу утомительному процессу правки рукописи вручную. К моменту прощания они прониклись друг к другу большим уважением, и Тед ушел с чувством глубокого удовлетворения оттого, что побеседовал с таким дальновидным и таким практичным деловым человеком.

* * *

— Дэвис — безмозглый осел, — сказал Робин, садясь в машину Теда. День клонился к вечеру, и они возвращались в Ковентри. — Единственная радикальная и провокационная вещь, которую он практикует, — это пожирание в неимоверных количествах миндальных печенек. Не знаю, что Хью в них находит.

— А я не знаю, что ты находишь в Хью, — ответил Тед. — Он не из тех людей, кого бы ты выбрал в друзья в Кембридже. Насколько я смог понять, он весь день только и делает, что слоняется по университету, хлещет кофе и набивает брюхо сэндвичами.

— Так поступает большинство моих друзей.

— Почему он не найдет себе работу?

— Потому что рабочих мест в науке нет.

— Тогда пусть поищет что-нибудь другое. Пора наконец начать реально смотреть на жизнь.

— Если бы он начал реально смотреть на жизнь, это стало бы катастрофой. Он бы понял, что жизнь больше ничего для него не приберегла. И наверняка покончил бы с собой.

Тед фыркнул:

— Не перегибай палку.

— К тому же Хью — далеко не исключение. Здесь, в университете, полно таких, как он. Люди, которые стали здесь лишними, но которым здесь слишком нравится, чтобы уйти. Хотя «нравится» — неподходящее слово для подобного рода публики, очень уж оптимистичное, ибо всякий, кто так привязан к университету, в действительности ненавидит жизнь.

— Все так, но наверняка через несколько лет, если он сумеет отыскать свою дорогу в жизни и сумеет поступить на соответствующие курсы...

— Такой, как Хью, никогда не найдет работу, — перебил Робин, — потому что его разум слишком далеко зашел во вполне определенном направлении. У Хью особый склад мышления, которое он считает — то ли благодаря своеобразному защитному механизму, то ли из эгоцентризма, — единственным достоинством. Этот особый склад мышления сделал его в буквальном смысле непригодным к обществу других людей. — Робин посмотрел на часы. — Если хочешь, можешь просто подбросить меня до дома. Полагаю, тебе уже пора ехать.

— Да, пожалуй покачу-ка я назад.

Тед удивлялся, почему он до сих пор не уехал. Всего два дня разлуки, но ему уже до смерти хотелось увидеть Кэтрин и Питера, и в то же время его гнело ощущение недоделанного дела, неисполненного долга. Теда потрясли перемены в Робине, и — наверное, из-за шока — он постепенно

начал придумывать объяснения странностям в собственном поведении. Робин просто забыл того человека, каким он был прежде, в те дни, когда был счастлив, а потому приезд старого друга по Кембриджу стал для него ни больше ни меньше, а даром Божиим, нечаянным-негаданным. Теперь можно восстановить неразрывную связь с прошлым, с прежним своим «я», которое он столь отчаянно хочет обрести вновь; и Тед станет тем посредником, который поможет выковать недостающую звено. Упустить этот шанс — значит предать их дружбу. По крайней мере, такая цель стоит того, чтобы пропустить ужин.

— Хотя торопиться мне особенно некуда, — сказал Тед. — Как собираешься провести день?

— Я устал, — ответил Робин. — Пожалуй, лягу спать.

— Ты же встал всего несколько часов назад.

— Можно посмотреть новости. Полюбоваться, сколько еще военных преступлений совершили сегодня наши лидеры.

— Не стоит тревожиться о том, что происходит в других уголках света. Оставь это политикам. Ты не хочешь еще что-нибудь написать?

— Надоело. Какой смысл? — И после паузы Робин добавил: — Может, поправлю второй рассказ. Он пока еще сыроватый.

— А давай прогуляемся? — предложил Тед — Наверняка здесь есть парк, где мы могли бы пройтись. Давай проведем еще один приятный вечерок Ты мог бы прихватить свою рукопись. Глядишь, появятся новые идеи.

Они подъезжали к улице, на которой жил Робин. Тед припарковал машину, Робин сходил за вторым блокнотом, а затем они двинулись в направлении Мемориального парка.

— Чудесный вечер, — вздохнул Тед, ослабляя узел галстука. — Знаешь, похоже, мне здесь нравится.

— Дурацкая мысль, — сказал Робин.

* * *

Еще один теплый вечер ранним летом, и мир, кажется, пребывает в полном покое; и они, два этих странных сотоварища, вновь шагают по финишной прямой дороги их дружбы.

По Олбани-роуд и по Спенсер-авеню. Эта местность должна быть знакома Теду, он шел здесь накануне ночью, но тогда он был занят своими

мыслями, впрочем, он и сейчас ими занят, и в глазах его не мелькает и проблеска узнавания. Что касается Робина, его знакомство с этим районом подобно дурному привкусу во рту, подобно камню на шее. Он всей душой жаждет покинуть эти милые пригородные улочки, покинуть как можно скорее и желательно навсегда, но у него нет ясного плана, как этого достичь, и он так устал, у него нет даже сил, чтобы обидеться на Теда за то, что тот отказывает ему в возможности сбежать отсюда хотя бы на время.

Они молча проходят мимо пустой спортплощадки старой школы, и они сворачивают к шоссе. Они ждут на пешеходном переходе, когда зажжется зеленый свет, и тут происходит любопытное явление: мысли их внезапно обретают целеустремленность и напор, концентрируясь на одном и том же человеке. И вот, после стольких вполне намеренных недоразумений, после непонимания, отчужденности и различия, их разумы в каком-то смысле встречаются. Оба они думают о Кэтрин. Тед с блеском далекого удовлетворения в глазах представляет, как обрадуется она его возвращению, каким чистым и приветливым она сделает дом, готовясь к его приезду. Он представляет блюда, которые она ему приготовит в эти выходные, вино, которое он купит к этим блюдам, он думает о любви, которой они займутся после вина. Он думает о том, как красива она будет; и он спрашивает себя, распустит ли она волосы или сделает прическу. И вновь с благодарностью сознает, какая ему выпала удача — какая им выпала удача, что они нашли друг друга.

А мысли Робина обращены в прошлое. Он страдает от воспоминаний о чувствах, которые целых пять лет пытался подавить, о которых, как ему казалось, он забыл — казалось до вчерашнего дня, до приезда Теда, до того, как он вновь услышал по телефону ее голос. Робин вспоминает о своей одержимости Кэтрин и спрашивает себя, знала ли она о его чувствах, подозревала ли. Или, быть может, он просто бежит от ответа — ради спокойствия, ибо большинству людей наверняка совершенно очевидно, что Кэтрин все подозревала, и лишь потому, что она отчаялась услышать от него о его намерениях, лишь поэтому прямолинейное предложение Теда показалось ей просветом в облаках. Так что будь Робин чуть поактивнее, чуть порешительнее, то кто знает, пробил бы час, и она вышла бы за него замуж, и они стали бы жить-поживать, счастливо поживать, даже Кэтрин, которой, если вас это так интересует, не будет дано слово в этой истории, потому что это история о Робине и Тедке, но они, каждый по своим причинам, решили утаить ее от Кэтрин. В каком-то смысле жаль, ибо я уверен, что вы наверняка предпочли бы им обоим Кэтрин, если бы только вам позволили познакомиться с ней.

И они уже у входа в Мемориальный парк, и когда они проходят через увитые листвой ворота, Тед понимает, что тянуть больше нельзя, что нужно сделать попытку, — ради Робина подтолкнуть их общую память в нужном направлении, напомнить Робину о том времени, когда их дружба была свежа и крепка, показать ему, что прошлое можно вернуть, если оно еще живо в их головах. Поэтому он усаживает Робина на скамейку и говорит:

— Ты помнишь тот день, когда мы ездили в Грантчестер, впятером, ты, я, Берни, Оппо и Маленький Дэйв, на велосипедах, и какое светило солнце, и как мы сдали экзамены, и как по пути туда мы останавливались в «Красном льве» и в «Зеленом драконе» на обратном пути, а в «Черной лошади» мы пообедали, и я ел скампи, и все мы пили шампанское, а солнце с неба так и жарило, и мы сидели в саду у реки, рядом с мостом, у дамбы, и рядом колыхались лодки, и в саду было полно людей, молодых людей, как ты и я, полных надежд, полных веселья, полных весенней радости, только это было летом, а раз так, то понятно, почему шел дождь, какое-то время, недолго, и мы зашли внутрь, и Берни напился, и Оппо нажрался, и Маленький Дэви лыка не вязал, и все это напоминало сцену из «Возвращения в Брайтсхед».^[5]

Но у Робина немного иные воспоминания о том путешествии: он помнит лишь майский день, моросящий дождь, экзамены еще сдавать и сдавать, они в самом разгаре, и его оттащили от письменного стола, за которым он вчитывался с неустанностью, порожденной скорее паникой, чем энтузиазмом, в страницы Августа Стриндберга и Антона Чехова, и Тед усадил его на велосипед в компании трех напрочь незнакомых ему людей, и всю эту катавасию затеяли под предлогом, что ему надо «чуток развеяться». Поездка оказалась долгой, день холодным, пабы переполненными, скамейки мокрыми, шампанское пресным. И Робин тоже умудрился напиться, и потому не смог в тот вечер сосредоточиться на подготовке к экзамену, и получил крайне низкую оценку за работу, которая должна была бы стать одной из лучших.

И тогда Тед, слегка сбитый с толку различиями в их общих воспоминаниях, предпринимает еще одну попытку:

— Ты помнишь долгие разговоры, какие мы любили вести, до самой глухой ночи, иногда целой компанией, беседовали о самых разных вещах, обменивались мыслями, спорили, творили в мире порядок, говорили о политике, книгах, жизни, искусстве, а порой мы были только вдвоем, и мы пили кофе, и нас так распирало от слов, что мы говорили до... до самой глухой ночи о самых разных вещах — об искусстве, книгах, политике, вероятно, мы были идеалистами, но в таком возрасте все идеалисты, со

временем мы это переросли, вероятно, мы были оптимистами, но юные люди часто бывают оптимистами, но потом ты преодолеваешь такое.

Ты помнишь наши разговоры, вдвоем, допоздна, словно это сцена из «Блестящих наград»?^[6]

Но память Робина о тех вечерах хранит несколько немаловажных противоречий, воспоминания распадаются на отдельные дольки: он помнит вечера, когда в его комнате собиралось несколько человек, несколько его друзей — теперь жизнь разбросала их по свету и связь с ними утеряна, — и они пытались вдумчиво обсудить достоинства какой-нибудь конкретной книги, или стройность какой-нибудь конкретной философской системы, или какого-нибудь конкретного политика — заслуживает он доверия или нет, а затем в дискуссию вступал Тед, и снижал высокий тон, и разрушал атмосферу, и сворачивал на интересные только ему темы, которые даже тогда не отличались разнообразием. Или вот еще: Робин уже готовится лечь спать, возможно, несколько рановато, потому что спозаранку он запланировал кое-какое важное дело, и вдруг заявляется Тед, с двумя чашками жидкого кофе в качестве предлога, и садится на кровать, и начинает болтать о своей жизни, которая даже тогда не отличалась занимательностью. А иногда, посреди болтовни о своей жизни, он вдруг заговаривает о чувствах к Кэтрин, и Робин, у которого тоже есть чувства к Кэтрин, и они не так уж отличаются от чувств Теда, расстраивается и не может потом заснуть, так что важное дело, намеченное на следующее утро, так и остается несделанным.

Но Тед, которого невозможно сбить с толку мелкими несоответствиями в паре версий одного и того же события, предпринимает очередную попытку:

— Ты помнишь тот чудный день тем чудным летом, когда мы плыли по реке, втроем — я, ты и Кэтрин? Мы с Кэтрин только-только обручились, минул всего один денек или два после того, как я задал ей вопрос, который вверил ее мне. Мы так любили друг друга. Ты стоял, отталкиваясь шестом, а мы сидели и смотрели на тебя. Какими избранными мы себя чувствовали. Избранными, но не потому, что мы были в белых одеждах, вкушали клубнику, сэндвичи с огурцами, пирожные и шампанское, но потому, что мы были в обществе друг друга, в твоём обществе. Да, мы оба чувствовали себя избранными оттого, что были рядом с тобой, Робин, мы видели в тебе друга, общего друга. В те дни ты нас объединял так, словно у нас был ребенок. Теперь у нас, конечно, есть Питер. Но я должен знать, Робин, мне нужно знать прямо сейчас — чувствовал ты тогда то же самое? Понимал ли, как много ты для нас значишь?

Но Робин втайне подозревает, что Тед обманывает себя, ибо он-то отчетливо помнит вышеупомянутый день, и все было совсем-совсем не так, как описал Тед. Кэтрин с Тедом, разумеется, не обрели никакого взаимопонимания, в этом он совершенно уверен, ведь это наверняка сказалось бы на их поведении, а в таком случае Робин не провел бы всю вторую половину дня в мучительной нерешительности, в исступленной тревоге, в оцепенении от невысказанных слов и несделанных предложений. Ясно, что Тед, увлеченный воспоминаниями о том дне, который и впрямь мог показаться романтичным человеку, не владеющему всеми оттенками этого слова, спроецировал на него то скрытое, что таилось в той ситуации, но что так и не проступило наружу. Кроме того, Робин никогда не умел грести шестом, как и Тед, если уж на то пошло, и единственной, кто умел грести шестом, была Кэтрин. Поэтому Робин раздумывает, не сообщить ли Теду, что обе его концепции об избранности имеют изъяны, но что-то подсказывает ему, что не стоит бросать слова на ветер.

И вновь немного (но не вполне) обескураженный количеством несоответствий в изложении вроде бы общих впечатлений, Тед предпринимает последнюю попытку заманить своего друга в ностальгические воспоминания:

— А как насчет той ночи, незабываемо прекрасной ночи последнего майского бала? Той волшебной ночи, многие подробности которой, признаюсь, я подзабыл, но одно навеки засело у меня в памяти, а именно — наш памятный разговор на мосту, когда кулик возвестил о наступлении рассвета. Памятный разговор, точное содержание которого, скрывать не стану, вылетело у меня из головы, но я отчетливо помню, что тогда присутствовала Кэтрин, и мы втроем наблюдали, как над рекой клубится туман, наблюдали, как гуляют гуляющие в пиджаках и бальных платьях, мы шли вдоль реки, взявшись за руки, и я знаю, что мы трое составляли прекрасную троицу или, быть может, четверку, так как я подзабыл, был ли у тебя кто-нибудь в то время, хотя сейчас, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, что кто-то все же был. Помнишь ты то чудное утро, Робин? Помнишь ту зарю? Зарю, как теперь мне чудится, нашей новой жизни, нашего светлого будущего?

И на этот раз Робин едва верит ушам, настолько мало общего между вариантом Теда и его собственным вариантом той сцены, которую он помнит так отчетливо, с такой тошнотворной ясностью. Он помнит бал, на который отправился вопреки желанию, только чтобы угодить приятелю, попросившему сопровождать его сестру. Он помнит эту сестру приятеля, которая бросила его через полчаса ради какого-то другого парня, и ему

пришлось бродить в беспомощном одиночестве, несчастным и смятенным. Он помнит, как случайно столкнулся с Тедом и Кэтрин, под аркой, она стояла, прижавшись спиной к стене, а Тед обхватил ее руками; помнит ее испуганные глаза, когда она увидела его приближение, ее губы, еще влажные от поцелуя. И он помнит, что был с ними на мосту, только это было несколько часов спустя, после того как они хорошо поели и выпили, и Тед в позе человека блюющего склонился над мутными водами Кема.

— Ну, ну, — говорила Кэтрин, медленно глядя его по спине. — Ну, ну.

— Нет, — говорит Робин теперь, пять лет спустя. — Нет, я этого совсем не помню.

* * *

В этом месте их диалог прервался внезапным явлением пластикового футбольного мяча, который упал на колени Теду. К ним подбежал мальчик лет трех-четырех и протянул ручки. Тед рассмеялся, дразняще предложил ему мячик, но тут же отдернул, затем протянул и отдернул снова и лишь потом отдал. Мальчик не увидел в том ничего смешного.

— Ну, — сказал Тед, — ведь это был очень-очень сильный удар для такого маленького человечка?

Робин с отвращением отвернулся. Он заметил, что отец мальчика пристально смотрит на них. Он не был точно уверен, но ему показалось, что этого человека он уже где-то встречал.

— Джек! — позвал отец, и мальчик убежал. Тед все еще улыбался, но улыбка застыла, когда он увидел лицо Робина, полное скуки и безразличия.

— В чем дело? — спросил он. — Ты не любишь детей?

— Я их люблю не так, как ты.

И только Робин замолчал, как на лице Теда появилось удивительно странное выражение, в котором таилось столько подозрения и неловкости, что Робин поспешил добавить:

— Я хочу сказать, не в такой степени. — И он пустился в длинные объяснения: — Полагаю, разница в том, есть ли у тебя свой ребенок, но... я не могу себе представить, чтобы такое случилось со мной... Во всяком случае, не в ближайшем будущем.

— Да, — сказал Тед. — Я тоже не могу. Тед чувствовал неминуемое приближение неприятных эмоций: гнева — из-за провала своих попыток сыграть на воспоминаниях; отвращения — из-за того образа жизни, что

ведет Робин; отчаяния — при мысли о ближайшем будущем; страха, когда он задумался о пропасти, которая пролегла между ними, о тех мрачных, невысказанных побуждениях, которые отдалили от него Робина и которые, возможно, привели его к нынешнему тупику. Он решил уйти, немедленно, пока эти эмоции не выплеснулись. Его поведение покажется странным, но он вовсе не обязан деликатничать. Через полчаса он может оказаться на трассе, ведущей в Суррей, ведущей домой.

— Послушай, Робин, я, пожалуй, пойду, — сказал он.

— Хорошо.

— Если хочешь немного здесь побыть, то не волнуйся, я найду дорогу к машине.

— Прекрасно.

Тед напрасно ждал жеста, взгляда, чего-нибудь.

— Ну, было приятно тебя повидать, — сказал он. — После стольких лет.

Робин улыбнулся.

Тед направился по дорожке, которая вела от мемориала к выходу. У ворот он обернулся и в последний раз взглянул на Робина. И увидел сгорбленную фигуру — теплым летним вечером, в парке, на краешке скамейки. На мгновение у него мелькнула мысль, о чем это может думать Робин. Затем он покачал головой и направился к шоссе.

Робин думал: «Весь мир словно сговорился против меня».

Часть вторая

Везучий человек

Пятница, 4 июля 1986 г.

*Алун Барнс, бакалавр права,
Пардо и Годдард,
Пятый этаж, Черчилль-хаус,
Джефффри-стрит, 18, Ковентри*

*Миссис Э. М. Фицпатрик,
Франкли, Ишам и Вэринг,
Крофтвуд-роуд, 39, Ковентри*

2 июля 1986 г.

Дорогая Эмма,

Приятно было встретиться с Вами в прошлую среду на вечеринке у Маргарет в Стивичолле. Я нашел, что она очень неплохо выглядит. Никто из нас не верил, что она так быстро оправится.

Меня интересует, не могли бы мы встретиться в ближайшие дни и неофициально побеседовать перед вторым слушанием по поводу дела Хепберн против Грина. По-моему, мистер Хепберн может пожелать уладить дело без суда, что было бы, как с Вашей, так и с моей точки зрения, наилучшим выходом, как мне кажется. Честно говоря, я хотел бы знать, не желаете ли Вы возродить традицию наших пятничных встреч за обедом в ресторане «Порт», просто чтобы обменяться мнениями?

Я в любом случае обедаю там в пятницу и буду Вас ждать.

Всего наилучшего,

Алун

Р. С. Помимо всего прочего, я раздобыл новые свидетельства по делу Гранта, которые, как мне кажется, могут представлять для Вас интерес. Постарайтесь прийти, если найдете возможность.

** * **

Эмма отложила письмо и попыталась почувствовать себя заинтригованной. Скорее всего, это опять игры Алуна, но с нее довольно игр с собственным мужем. Шум, производимый Элисон, которая готовила кофе в офисной кухоньке, страшно раздражал. Пару недель назад письмо, вне всякого сомнения, заинтриговало бы ее: не то чтобы это дело представляло для нее особый интерес, если, конечно, забыть о том, что ей нравился клиент, но тогда у нее было больше желания работать. Теперь же она чувствовала себя усталой и выжатой.

Элисон принесла кофе и отчего-то тянула, не спеша поставить поднос на стол.

«Черт, — подумала Эмма. — Она меня жалеет, и теперь она еще что-то хочет сказать».

— Я могу вам чем-нибудь помочь? У соседей сейчас затишье.

Уже собираясь ответить «нет», Эмма замешкалась и передумала:

— Можете рассортировать вот эти документы, — сказала она. — Спасибо.

Эмма, как всегда, с удовольствием наблюдала за Элисон. Уже два года, как Элисон в офисе, и скоро наверняка сама сможет работать по искам. Это была аккуратная темноволосая и темноглазая женщина, и Эмма испытывала внутреннее, почти тайное удовольствие от того, с каким непринужденным изяществом та передвигается по офису, как наклоняет голову, когда разговаривает, от легкости и проворства ее пальцев, когда она подшивает документ или вскрывает конверт. Иногда Эмма спрашивала себя, почему они не сдружились. Однажды вечером она пригласила Элисон к себе домой, Элисон и ее тогдашнего приятеля, какого-то студента, и они вчетвером прекрасно поужинали на кухне; вино было теплым и ароматным, а Марк был само очарование. С внезапной четкостью перед ее глазами всплыла апельсиновая мякоть, в которую он вонзил зубы, когда они пили кофе. Но дружба требует более плодородной почвы, чем обычная светская вечеринка, и между Эммой и Элисон всегда оставался барьер, которому Эмма никак не могла подобрать определения, не говоря уж о том, чтобы преодолеть; вот и сейчас, несмотря на ее проблемы, момент для такого преодоления был столь же неподходящим, как и любой другой.

— Элисон, — тем не менее позвала Эмма.

— Да?

Слова предприняли усталую попытку всплыть, но тут же бесповоротно ушли на дно.

— У вас нет желания, — в конце концов проговорила Эмма, — заглянуть в пятницу днем в «Порт» что-нибудь выпить?

Элисон покачала головой:

— Пятница исключается. Я ведь должна поехать в Нортхэмптон, помните?

— Ах да, конечно.

Эмма отпила кофе и рассеянно лизнула ободок чашки. Она совсем об этом забыла.

* * *

Бар «Порт» располагался в районе, где кучковались агентства недвижимости, в полуподвальном помещении. По пятницам сюда приходили юристы, иногда вваливалась целая толпа из соседнего строительного общества, но до отказа «Порт» забивался очень редко. Какое-то время Эмма постояла в дверях, не желая почему-то проваливаться в подвальную тьму. Центр города выглядел на удивление приветливым и веселым; она даже подумала, что неплохо бы устроить ланч на скамейке в парке, запасшись парой сандвичей и бульварной газетенкой. Она так давно не совершала ничего непредсказуемого. Даже эта встреча с Алунем вполне предсказуема. Могла бы и догадаться, что именно ланчем все и кончится, она ведь знала, что Алун наверняка попытается прибегнуть к трюку из своего привычного репертуара.

Дав возможность сквозняку еще несколько секунд поиграть на ее лице, Эмма вошла внутрь.

В баре было темно и жарко, но тихо, а это уже кое-что. Малограмотное меню, написанное мелом, уведомляло о сегодняшних скидках на салаты и божоле. Спускаясь по ступенькам, Эмма поняла, что сглупила, надев туфли на высоких каблуках, уж очень неудобные и шумные; она поймала себя на том, что с такой страстью прижимает сумочку к груди, что всякому бросилась бы в глаза ее нервозность, если бы она вовремя не спохватилась. На какой-то миг ей до смерти захотелось оказаться где-нибудь еще, в каком-нибудь другом месте.

Алун сидел в углу за столиком на двоих, на свободном стуле стоял портфель. Голубая рубашка в полоску, красный галстук, неизменный светло-серый костюм. Но усы исчезли, и выглядел он более худым, значительно более худым, чем в их последнюю встречу. И еще он оказался очень высоким — когда встал и приветственно улыбнулся ей своей фальшивой улыбкой.

— Эмма. Очаровательно выглядите. Вы очаровательны. Я очарован. Прошу садиться.

Еще одно жуткое мгновение она думала, что он сейчас поцелует ее в щеку, но они просто пожали руки.

— Что вы будете?

Она попросила белого вина и салат. Минут десять они болтали о пустяках.

— Послушайте, Алун, мы теряем время, — наконец сказала она. — Что там такого с Хепберном?

— Ну, короче говоря, он взялся за ум. Мне удалось развеять его иллюзии о перспективах судебного разбирательства. Вся проблема в том, что газеты расписывают случаи, как кто-то где-то получил компенсацию в десятки тысяч фунтов. Я ему сказал, что если дело дойдет до суда, то никто не гарантирует, что он выиграет. — Алун улыбнулся. — Ну что, я сэкономил вам время?

— Да, сэкономили. Спасибо. Я очень благодарна. Хотя, честно говоря, у меня сейчас не так много дел.

— Правда? Надеюсь, вы не испытываете недостатка в клиентах?

— Нет, но знаете, как бывает: то густо, то пусто. Я не жалею, в смысле, иногда приятно немного передохнуть. Когда два человека занимаются работой, требующей полной самоотдачи... это может быть сложно.

— Два человека?

— Я и Марк.

— Ах да, конечно. Хотя я вас предупреждал. Юрист и доктор — то еще сочетание.

— Мы отдавали себе отчет.

Алун замолчал и попытался встретиться с Эммой взглядом, но не сумел. Потерпев неудачу, он полез в портфель, где лежали материалы к текущим делам, термос и яблоко. Жена каждый день собирала ему обед, но он чаще всего выбрасывал его, предпочитая обедать в пабе с коллегами по работе. А Эмма тем временем вспоминала об одной ночи несколько недель назад, как они тогда с Марком лежали бок о бок и не спали. Эмма увидела себя — в темной и тихой спальне, как она лежит и думает: все так глупо, что она даже не считает нужным больше поднимать вопрос о ребенке, и если их браку наступит конец — а это казалось ей теперь вполне возможным, — тогда она действительно упустила свой шанс, ей тридцать четыре, и каков шанс по-быстрому найти кого-нибудь еще, кого-нибудь, кто ей понравится в достаточной степени, да и захочет ли она еще раз

проходить через всю эту канитель? В ту ночь она чувствовала себя такой одинокой, деля в темноте постель с мужчиной, с которым делила постель последние восемь лет своей жизни, а теперь она чувствовала себя одинокой оттого, что делила вино и салат с человеком, к которому никогда не питала симпатии.

— Давайте поговорим о Гранте, — предложил Алун и отодвинул тарелку, чтобы освободить место на необъяснимо крошечном столике (в баре имелись свободные столики побольше), на котором едва уместился красный блокнот.

— Отлично, — сказала Эмма с искренним облегчением. — Что вы хотели мне показать?

— Вы ведь встречались с этим парнем?

— С Робинот? Дважды.

Она отметила собственное удивление оттого, что машинально назвала его по имени.

— Дважды?

— Да. На прошлой неделе мы встречались в неофициальной обстановке.

Он выдержал короткую, очень в мужском духе, утомительно красноречивую паузу.

— Что ж, ваше дело. Полагаю, вы отдаете отчет в своих действиях.

— Вы меня неправильно поняли. Мы познакомились через общего друга. Бывшего клиента.

Алун ждал, рассчитывая на дальнейшие объяснения.

— Несколько лет назад — не знаю, помните ли вы, — я защищала человека по имени Фэрчайлд. Хью Фэрчайлд. Министерство здравоохранения и социального обеспечения обвинило его в мошенничестве. Он защитил диссертацию и преподавал в университете, зарабатывая где-то десять фунтов в неделю или около того, и одновременно обратился за пособием. В конечном счете в министерстве все разнюхали и потребовали деньги назад. Сумма была небольшая, несколько сотен фунтов, но у него и этих денег не было, и все складывалось так, что он мог оказаться в тюрьме. В министерстве тогда закручивали гайки, и на его примере они явно хотели продемонстрировать свою твердость. Разумеется, он признал себя виновным, а мне удалось договориться с истцами, мы даже сумели освободить его от штрафа и сошлись на вполне разумной схеме погашения долга. Насколько мне известно, он еще не выплатил всю сумму. — Эмма нахмурилась. — Прошло уже года четыре. Удивительно, как быстро бежит время, да?

— Продолжайте, — сказал Алун, который не любил, когда люди в его обществе начинали предаваться воспоминаниям.

— Так вот, оказалось, что Хью и Робин знакомы, поэтому, как только Робину понадобился адвокат, Хью направил его ко мне.

— Вы все это время не теряли связь с Хью?

— Да, я с ним ужинала. Раз два-три. Он очень хороший кулинар. Живет в маленькой однокомнатной квартирке, в Стоук-Грин. Бедно, но уютно. Так вот он устроил на прошлой неделе вечеринку — у него был день рождения — и я пришла. Знаете, просто из вежливости. Наверное, мне следовало догадаться, что там будет и Робин, но я почему-то не подумала об этом. Честно говоря, меня занимали совсем другие мысли. Я говорила с ним всего несколько минут. А вы с ним встречались?

— Только в суде.

— На том заседании он очень нервничал. Впрочем, этого и следовало ожидать.

— А какой он? Как бы вы могли его охарактеризовать?

— Охарактеризовать?

— Да. Я хочу сказать, он действительно похож на человека, который пристает к детям?

Эмма впервые подалась вперед и посмотрела Алуну прямо в глаза, тоже впервые.

— Давайте внесем ясность, Алун, — Робин ничего не совершал. Нет смысла отвечать на ваш вопрос. Я полностью ему верю.

— Как вы можете верить человеку, с которым говорили всего несколько минут?

— У нас состоялась продолжительная официальная беседа. Я знаю все, что мне нужно.

— Тогда на чем вы намерены строить свою защиту? На его характере? Вы обращались к психиатру?

— Нет, конечно. В этом нет необходимости.

— Видите ли, у меня есть свидетель. И я считаю, что ваша позиция не очень-то убедительна.

— Кто это? Уж не отец ли мальчика? Но он же ничего не видел.

— Он видел достаточно.

— Я читала его показания. Они не выдерживают критики.

Алун улыбнулся — спокойной, заранее торжествующей улыбкой. Теперь уже он подался вперед и взял пустой бокал Эммы.

— Нам надо многое обсудить. Еще вина?

— Нет, спасибо.

— Хотите сохранить ясную голову, полагаю. Что-нибудь безалкогольное?

— Нет, спасибо.

— Ладно, я принесу вам апельсиновый сок. В крайнем случае, можете не пить.

Он ушел, а Эмма принялась за салат, но очень скоро едковатый вкус зеленых листьев показался ей отвратительным. В голове ее роились вопросы, но она не могла справиться с силами и обдумать хотя бы один. И это было странно, Эмма знала, что еще несколько месяцев назад подобное дело очень заинтересовало бы ее. Она не могла припомнить, когда чувствовала себя столь безжизненно; возможно, надо обратиться к врачу: несколько дней в голове какая-то тяжесть, не обычная головная боль, как она вчера пыталась объяснить Марку, а что-то вроде пульсирующей вялости, не позволяющей сосредоточиться. Так ведь приближаются критические дни, ответил Марк и, судя по всему, счел, что проявил чуткость.

— Вы выглядите усталой, — сказал Алун, мягко вкладывая бокал ей в руку. — Что-нибудь случилось?

— Неделя выдалась тяжелой. Может, решу во второй половине дня отдохнуть и поеду домой. Или что-нибудь в этом роде.

— Хорошая мысль. Ноги кверху, и сразу почувствуете себя лучше. Мы с Керри скоро уезжаем: две недели в Португалии. Когда вы с Марком в последний раз нормально отдыхали?

— Точно не помню. Значит, ваш главный свидетель — отец, верно?

— Да. Его версия событий... ну, вы сами читали. Он говорит, что сын зашел в кусты за мячиком, а Грант последовал за ним.

— Но ведь все было не так. Робин уже находился в кустах.

— Это он говорит. Да и зачем взрослому человеку заходить в кусты в семь часов вечера.

— Чтобы облегчиться, разумеется. И это объясняет, почему у него был «вороватый» вид, как наверняка выразился отец. Он весь день пил чай и кофе, причем не один.

— Не один.

— С другом. Пэрришем. Эдвардом Пэрришем, они знакомы по университету. Вы с ним связались?

— А, этот неуловимый мистер Пэрриш. Да, связался. И понял, что он с большой неохотой дает показания. Хотя его, наверное, вполне можно уговорить. — Алун сплел под столом длинные, тощие ноги, задев ноги Эммы. — Так вот, у нас есть факты. И факты, как вы справедливо

заметили, допускают совершенно различные трактовки, учитывая их изначальную фрагментарность. В таком случае, раз мы, по всей вероятности, не можем добыть дополнительных фактов, то должны довольствоваться теми, что уже имеются в нашем распоряжении, и найти более надежную основу для их толкования. Вы согласны?

— Да, полагаю, что да, — Эмма только сейчас вспомнила, каким нудным умеет быть Алун. — Так к чему вы клоните?

— У нас есть показания мальчика. Не очень связные и не очень убедительные. Согласно его показаниям, человек в кустах был обнажен, и мальчик испугался. Кроме того, у нас есть версия Гранта и есть еще одна версия. Кому мы доверяем, вот о чем я веду речь: кто из этих людей больше всего заслуживает доверия?

— Я не встречалась с отцом.

— Я видел его несколько дней назад. Он мне позвонил и сказал, что уже после показаний в полиции вспомнил кое-какие подробности. Как выяснилось, эти подробности имеют не столь уж большое значение, зато я познакомился с ним самим. Из него получится очень хороший свидетель.

— Почему же?

— Этот человек — столп общества. Вне всякого сомнения. Во-первых, он руководит скаутами, то есть добр к детям. Во-вторых, он член местного отделения общества защиты животных, то есть добр к животным. Ревностный христианин, методист. Каждое воскресенье он раздает Библии. Он организовал дежурство в своем районе, он член клуба «Ротари», быть может, он даже масон. Его жена регулярно посещает собрания Женского института и является душой элитного кофейного клуба. Кроме того, они оба регулярно сдают кровь. Разве этого мало?

— И что это доказывает? Он семейный человек, а мальчик — его единственный ребенок. Тем больше причин переживать по поводу безопасности ребенка. Совершенно очевидно, что перед нами случай слишком острой реакции на безобидное и, по существу, комичное происшествие.

— На вашем месте я не стал бы использовать подобную тактику защиты. Мужчина обнажился перед испуганным ребенком, а вы называете это комичным!

— Он не обнажался! Он расстегнул брюки, только и всего.

— Знаете, возможно, вам сложно вести такого рода дело, Эмма, потому что у вас нет своих детей.

Эмма не нашлась с ответом. Чтобы скрыть смущение, она отпила апельсиновый сок, к которому до этого решила не притрагиваться. Эмма

полагала, что Алун извинится, но, когда он снова заговорил, в голосе его по-прежнему слышались агрессивные нотки.

— Тогда расскажите мне о Робине. Я только что описал вам надежного и заслуживающего доверия свидетеля. А теперь вы расскажите, что такого особенного в вашем клиенте. Почему вы ему верите, несмотря на шапочное знакомство?

Эмма с трудом сглотнула, но голос ее, когда она сумела заговорить, звучал уверенно, хотя эдинбургский акцент угадывался отчетливее обычного.

— Ну, если хотите, я нашла его очень приятным человеком. Приятным и умным, очень умным. Да, у него депрессия. В его жизни сейчас черная полоса — и в работе, и во всем остальном. Он не сразу идет на контакт. Но если добиться этого, то вам воздастся сторицей. Он очень забавный, остроумный и... восприимчивый.

Алун выдержал еще одну стратегическую паузу, на этот раз с целью дать ей почувствовать, будто он ждет продолжения.

— Ну хорошо, Эмма, — сказал он наконец. — Действуйте, как считаете нужным. Надеюсь, у вас припасено в рукаве несколько козырей, о которых вы не желаете распространяться. Ваше право. Но поверьте, я задаю вопросы ради вашего же блага. Мне не хочется, чтобы вы обожглись на этом деле. Я хочу, чтобы вы абсолютно точно знали, с каким человеком имеете дело.

— То есть?

— Ну, например, — Алун указательным пальцем постучал по красному блокноту, — вы знаете, что Грант пишет? Вы знаете, что он воображает себя писателем?

— Да.

— А вы читали его произведения?

— Нет, и не вижу в том необходимости. Вряд ли они имеют доказательную ценность.

— Разумеется. Зато они могут на многое пролить свет. Этот блокнот нашли в кармане его пиджака в вечер совершения преступления... прошу прощения, предполагаемого преступления. Здесь один из его рассказов.

Эмма взяла блокнот и перелистала. Страницы были заполнены убогим, неровным почерком. Она закрыла книжицу и прочла название, которое Робин написал на обложке печатными буквами.

— «Везучий человек», — произнесла она. — Ну и что тут такого? О чем это?

— Мне не хотелось бы пересказывать содержание. Скажем так, в нем

выведена весьма необычная личность, — ответил Алун и добавил: — Вы почти не прикоснулись к соку. Хотите, чтобы я принес вам другой?

— Не хочу. Этот я тоже не хочу.

Эмма встала. Внезапно она ощутила, что ей неинтересен ни красный блокнот, ни поиски истины в этом деле. Вместо этого она лучше поедет в Уорик и несколько часов проведет во дворе замка.

— Дело в том, — сказал Алун, допивая пиво, — что вам следует уговорить его признать себя виновным.

Эмма рассмеялась:

— Очаровательная попытка. Но ни он, ни я не собираемся сдаваться.

— Возможно, он вам не все рассказывал. Видите ли, Грант — довольно известная личность в этих местах.

— Известная личность? Что вы имеете в виду?

— Именно поэтому отец мальчика ко мне и приходил. Он видел Гранта прежде, но никак не мог вспомнить где именно. Вот почему он промолчал об этом в своих первоначальных показаниях. Каждое воскресенье он вывозит семью поиграть в шары на лужайке рядом с Бродвеем. В том числе и ребенка. Как выяснилось, Грант и раньше беспокоил его. Он наблюдал за ними. И он уже некоторое время приглядывался к малышу.

Эмма с подозрением смотрела на Алуна.

— Я не верю.

— Как хотите. Но мы еще раз могли бы сэкономить себе немного времени, вот и все.

Он проводил ее вверх по лестнице, и нелепое цоканье каблуков по деревянным ступенькам раздражало Эмму больше прежнего. Однажды кто-то сказал ей, что такие звуки кажутся мужчинам очень сексуальными, — возможно, это даже был Марк. Эмма постаралась как можно спокойнее пожать руку Алуна скользкую от пота; прощаясь, она произносила какие-то слова, совершенно не сознавая, что говорит. От солнца и выпитого вина кружилась голова и тянуло в сон.

Июль 1986 года: первая неделя этого месяца выдалась очень жаркой. Обувь липла к асфальту. В солнечном свете сверкали ветровые стекла блестящих новеньких автомобилей, в которых сидели торговые агенты в рубашках с коротким рукавом, направляясь на последние деловые встречи. Толпы безработных подростков, одетых в модные в тот год светло-зеленые и синие цвета, маячили в переходах торгового центра. Эмма быстро шагала к многоэтажной автостоянке, проклиная себя за то, что поставила машину под самой крышей: руль наверняка так нагрелся, что к нему не прикоснуться. Она опустила все окна, включила радио, нашла парковочную

квитанцию и с радостью отметила, что в кошельке хватает мелочи. Затем, повинувшись первоначальному, хотя уже изрядно ослабевшему побуждению, поехала в Уорик Ветер, свистевший в открытые окна, и легкомысленно-сентиментальные мелодии подняли ей настроение.

* * *

Эмма лежит у реки знойным пятничным днем. Она ничего не купила мужу на ужин, она даже не может вспомнить, придет ли он сегодня ужинать. Прежде муж ей нравился, им было что сказать друг другу. Теперь они считают друг друга законченными эгоистами и не ощущают бывшего душевного комфорта. Еще не произнесено ни единого слова, еще не произошло ничего конкретного — лишь ощутимая холодность за завтраком, лишь ощутимая вялость в сексе, лишь ощутимое усилие, которое требуется, чтобы поинтересоваться, как дела на работе. Вечером перед сном они слишком долго смотрят телевизор. И все, пока все. Скандалы, обиды, подозрения, прямые обвинения, внезапный страх — эти удовольствия еще только ждут Эмму. Сегодняшняя апатия, полусознательное решение позволить мыслям лениво течь по кругу — быть может, это признак, быть может, это попытка уйти от ответа на вопрос: что же случится с ее жизнью. А раз так, то можно снисходительно простить Эмму за то, что она забыла про Робина и его проблемы, по крайней мере до вечера, когда станет прохладнее и она сочтет себя готовой раскрыть первую страницу его рассказа.

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА РОБИНА ГРАНТА

2. Везучий человек

В одном северном городе человек просыпается, отдергивает занавески и вглядывается в незнакомую улицу.

Человек, которого зовут Лоренс (я вовсе не намерен держать вас в неведении, когда речь идет о важных для дела подробностях), вернулся в постель и несколько минут смотрел в потолок, но вовсе не потому, что на потолке имелось нечто чрезвычайно любопытное, просто он размышлял. У

него болела голова, и мыслительный процесс представлял определенные трудности. Но мало-помалу осколки воспоминаний о предыдущем вечере сложились воедино: поезд, железнодорожная станция, стремительная езда по темным кривым улочкам. А потом — ничего. Он не мог вспомнить, как оказался в этом доме.

Постепенно на его лице проступила улыбка.

Либо каким-то образом он сумел раздеться, либо кто-то его раздел, и последнее вероятней, поскольку одежда аккуратно сложена на спинке кресла в углу комнаты, а он никогда не складывает одежду перед сном. На нем были только трусы. С неожиданной энергией Лоренс скинул ноги с кровати и принялся одеваться. И тут рядом с креслом заметил свою сумку. Он открыл ее и обнаружил чистую одежду, которой вполне хватило бы на несколько дней. Тогда он надел свежие трусы, рубашку, свитер, брюки и носки и вышел на лестничную площадку.

Снизу доносился настойчивый, но негромкий мужской голос, человек что-то тихо говорил по телефону. А еще Лоренс увидел, что дверь в ванную приоткрыта, и он воспользовался возможностью, чтобы сходить в туалет и умыться. К тому времени, когда он спустился, телефонный разговор прекратился.

Он открыл дверь справа от лестницы и оказался в маленькой, плохо освещенной, но веселенькой гостиной. Перед газовым камином сушилась на вешалке одежда, на столе находились остатки завтрака, в числе прочего — полтоста и кружка еще горячего чая. Лоренс обратил внимание, что стены обклеены политическими плакатами, взывающими к участию в митингах и маршах, либо предупреждающими, что, покупая определенные сорта кофе или шоколада, Лоренс косвенно поддерживает коррумпированные режимы в далеких странах, о некоторых он никогда не слышал, а название других и выговорить не смог бы. У камина сидел молодой человек и слушал портативный радиоприемник, настроенный на Радио-3. Когда Лоренс вошел, человек поднял взгляд и сказал:

— Выходит, вам удалось? Если судить по тому состоянию, в котором вы пребывали вчера вечером, я думал, что вы не проснетесь никогда. Никогда.

У человека был белфастский выговор.

— Где я? — спросил Лоренс.

— Что именно вы имеете в виду?

— В каком городе?

— В Шеффилде, — ответил человек. Казалось, вопрос его немного удивил. — Чаю хотите?

— Хочу, — сказал Лоренс и добавил: — Я не знаю, как вас зовут.

— Пол. Наверное, я должен перед вами извиниться.

Он протянул Лоренсу чай, не очень теплый и очень крепкий.

— Я ничего не знаю, — сказал Лоренс. — Я как раз собирался поблагодарить вас за то, что приютили меня на ночь.

— Это самое меньшее, что мы могли сделать. Думаю, мы немного обознались. Приняли вас за типа по имени Дочерти. Впрочем, в конечном счете вы поймете, что во всем виноват Джеймс Джойс.

Видимо, эта мысль понравилась Лоренсу. Он широко, хоть и про себя, улыбнулся, а потом сказал:

— С нетерпением жду ваших объяснений.

— Все довольно просто, — начал Пол, усаживаясь на место. — Мы получили указание встретить этого Дочерти, когда он сойдет с поезда в 10.58. Прежде мы его никогда не видели, и у нас не было описания его внешности, но по договоренности в руках он должен был держать томик «Улисса» Джеймса Джойса. А у вас в руках оказалась та же самая книга. Согласитесь, ошибиться было легко.

На самом деле произошло следующее, хотя Полу с Лоренсом, в отличие от читателя, имеющего перед ними преимущество, никогда не суждено об этом узнать. Дочерти, профессиональный террорист, был приглашен в Шеффилд группой лиц, сочувствующих ИРА (Пол занимал в этой группе видное место), прочесть лекцию на тему о Тревожных годах.^[7] Планировалась также демонстрация слайдов, а после лекции предполагалось угощение — кофе и сырное печенье. Дочерти, прежде чем посвятить себя революционной борьбе, одно время трудился в вагоне-ресторане и до сих пор питал ностальгическую слабость к железнодорожным сэндвичам, а еще он наизусть знал расписание поездов, направляющихся в Центральные графства и Йоркшир. Поэтому, обнаружив по пути в Шеффилд, что в поезде нет вагона-ресторана, Дочерти решил заскочить в буфет на станции в Дерби, прекрасно помня, что поезд стоит там семь минут. Откуда ему было знать, что машинист, который на этой неделе отдал в ремонт свой видеомаягнитофон, решил поспеть домой к передаче по 4-му каналу о выращивании экологически чистых овощей, где должны были показать интервью с соседкой двоюродной сестры его тетки, директором магазина здоровой пищи в Донкастере? Поэтому поезд отправился на две минуты раньше, в результате чего Дочерти остался приплясывать от бессилия на платформе, а Лоренс, который намеревался сойти в Дерби, но не сошел, поскольку впал в глубокий сон, о причинах которого будет рассказано в свое время (но никак не раньше), остался в

купе один вместе со злосчастным томиком «Улисса». Книгу, когда его грубо растолкал контролер и велел выметаться в Шеффилде, он прихватил с собой — под влиянием неоформленной и весьма смутной мысли сдать ее в бюро находок. Выполнить этот план помешало появление Пола с дружками, которые без промедления запихнули Лоренса в машину, и не успел он глазом моргнуть, как очутился в безликом особняке о трех этажах.

— Лишь сегодня утром я обнаружил ошибку, — произнес Пол. — Я позволил себе осмотреть ваш пиджак.

— Я бы поступил точно так же, — заметил Лоренс.

— Похоже, вы не очень-то расстроены, — нерешительно сказал Пол, — обнаружив себя в странном доме со странным человеком в странном городе.

Лоренс вновь улыбнулся про себя, но на этот раз его улыбка все-таки прорвалась наружу.

— Не хочу показаться пресыщенным, — сказал он, — но такого рода штуки творятся со мной постоянно. Вся моя жизнь — это цепь случайностей, и другой жизни я бы не желал. Надеюсь, у вас есть еще чай?

Пол принялся заваривать свежий чай, а Лоренс спросил:

— А этот Дочерти, зачем он приезжал? К чему вся эта секретность?

— Боюсь, это действительно секрет. У меня будут очень большие неприятности, если я рискну посвятить вас. Скажем так, он приезжал, чтобы выступить на... политическом собрании.

— А-а, политика, — протянул Лоренс, и от Пола не укрылась скука, с какой он произнес это.

— Полагаю, политика вас не интересует? Вы не назовете себя прирожденным политиком?

Пол поставил перед Лоренсом чашку со свежим чаем, на этот раз послабее и погорячее.

— Боюсь, все это кажется мне довольно наивным, — ответил Лоренс. — Спасибо. Видите ли, таким образом все равно ничего не изменишь.

— Ну, здесь я с вами не соглашусь. Просто вокруг нас слишком много пораженческих настроений. Если бы мы все вместе постарались, если бы мы действовали сообща... да и вообще... полагаю, вы человек религиозный, судя по вашим словам? В таком случае это вы наивны! Религия, как справедливо сказал Маркс, — это опиум для народа.

— Совершенно верно. Готов под этим подписаться.

— Понимаю, — сказал Пол, несколько сбитый с толку готовностью, с какой согласился собеседник. — Значит, вы не верите ни в политику, ни в

религию? Н-ну... — Он на мгновение задумался. — Значит, насколько я понял, вы материалист? Что же, цель вашей жизни — деньги без оглядки на щепетильность и мораль?

— Да вовсе нет, — ответил Лоренс. — Деньги — это корень зла.

— Полностью солидарен с вами. Значит, вы просто-напросто гедонист? И цель вашего существования — откровенный и бесстыдный поиск удовольствий?

— Да ничего подобного, — обиделся Лоренс. — По личному опыту я знаю, что мирские удовольствия мимолетны, как легкий ветерок.

— Я придерживаюсь того же мнения, — согласился Пол. Он сел напротив Лоренса и устремил на него изумленный и пытливый взгляд. — Тогда к чему вы стремитесь? Что движет вами? Тяга к знаниям, власти, любви? Кто вы — сентименталист, экзистенциалист или эстетический пантеист? Или просто алкоголик? Какова ваша система ценностей? Какие принципы управляют вашей жизнью?

— Моя система — это отсутствие системы, — ответил Лоренс. — А мои принципы — это отсутствие принципов.

— Звучит весьма беспринципно, — сказал Пол, — и крайне бессистемно.

— Вы ко мне несправедливы, — возразил Лоренс. — У меня есть свои убеждения, столь же логичные, как и ваши, а может, даже более логичные. И я живу в полном соответствии с ними.

— Очень хорошо. Окажите мне честь и поведайте, что это за убеждения.

— Ну хорошо, возьмем ситуацию, в которой мы с вами оказались. Два незнакомых человека ведут беседу в гостиной в Шеффилде. К этому что, привели политические обстоятельства? Это продукт идеологии? Только до определенной степени. Или нашу беседу способна объяснить религия? Это что, составная часть гигантского предначертанного свыше плана, замысленного всемилостивым Господом нашим? Хотел бы я увидеть доказательства этому. Нет, мне кажется, что все наши действия определяются исключительно случаем или, как я предпочитаю говорить, везением. Так называемая свобода выбора, все эти якобы ответственные решения — мы принимаем их под влиянием обстоятельств, над которыми не имеем ни малейшей власти. Осознайте этот факт, и вы окажетесь ближе к пониманию жизни. Человек, который это осознает, является поистине везучим человеком.

— Не очень-то оригинальная философия, — Пол пренебрежительно взмахнул рукой.

— А я этого и не утверждаю. Но мало кто имеет смелость отнести к ней всерьез. Такая философия слишком пугает людей.

— А кроме того, она вряд ли поможет объяснить, почему вы оказались здесь.

— В том-то все и дело. Никаких иных объяснений нет — за исключением столь длинных и столь запутанных причинно-следственных цепочек, что их попросту невозможно проследить. Наверное, я никогда не узнаю, почему я оказался в этом городе и в этом доме. Я знаю только, что собирался навестить сестру в Дерби, но заснул в поезде.

— Вот вам и объяснение: вы устали и потому заснули. Что может быть проще?

— Но я не был уставшим. Я совсем не был уставшим. — Лоренс нахмурился. — Наверное, мне следует позвонить сестре и сообщить, где я. Не правда ли, странно, что, кроме вас, ни одна живая душа не знает, где я нахожусь сегодня утром.

Пол рассмеялся.

— И снова вы ошибаетесь. Незадолго до того, как вы спустились, я позвонил к вам домой и сообщил.

— Вы звонили в Ковентри?

— Да.

— Вот вам классическая иллюстрация моего утверждения. Потому что, если бы человек, которого я люблю, не работал в газетном киоске, вы бы этого сделать не смогли.

— То есть?

— Ну, насколько я понял, вы нашли телефонный номер на первой странице моего ежедневника? Но у меня не было бы никакого ежедневника, если бы человек, которого я люблю, не получал его бесплатно каждый январь.

— Понимаю.

— И как нарочно, именно по этой причине ваш замысел на самом деле потерпел крах. Потому что если бы этот дневник не был бы дорог мне как память, я давно бы его выбросил, поскольку он позапрошлого года, да и по указанному в нем адресу я больше не живу. — Лоренс подождал реакции, не дождался и продолжил: — Так что, скорее всего, ваш звонок встретили с полным недоумением.

— И вовсе нет. Я разговаривал с женщиной по имени Аманда. Она все о вас знает. Она даже знает, почему вы уехали из Ковентри.

Лоренс привстал, искренне удивленный.

— Аманда? Какая Аманда?

— Я не спросил. Я решил, что вы добрые знакомые. Более того, судя по ее словам, она ваш близкий друг.

Тут Лоренс смутился, потому что, насколько ему было известно, у него не было знакомой женщины по имени Аманда, да к тому же обитающей по его прежнему адресу. Но я не вижу никаких причин, почему вы должны разделять его неведение.

Любопытно, как два человека могут существовать в непосредственной близости друг от друга, даже работать или жить в одном месте, но при этом в столь различной степени знать друг друга. Вот возьмем Лоренса, он наверняка узнал бы Аманду, доведись ее увидеть. Ее лицо показалось бы ему знакомым, но это было бы лицо человека, которого он знает не настолько хорошо, чтобы при встрече непринужденно кивать или улыбаться. Тогда как сам он занимал все мысли Аманды; Лоренс был объектом ее неодолимого влечения, центральной фигурой ее душевного пейзажа. Мне говорили, что это называется «потерять голову». Так вот, Аманда потеряла голову из-за Лоренса в ту самую минуту, когда впервые увидела его — через несколько недель после того, как они поступили в университет, но ее страсть так и осталась неудовлетворенной — по вине весьма неудачного стечения обстоятельств. Почти восемь месяцев Аманда пыталась подстроить встречу с Лоренсом, часами просиживая в столовой технического факультета. Она напрасно тратила время, потому что Лоренс, изучавший общественные науки, не имел к техфаку ни малейшего отношения. Просто Аманда однажды видела, как он берет книгу в библиотеке технического факультета, и по глупости решила, что он будущий инженер. Но Лоренс брал книгу для друга, который слег с сильнейшей простудой, потому что накануне вечером забыл в автобусе плащ и возвращался домой под проливным дождем. Иными словами, ошибка Аманды крылась в том, что она строила свою жизнь на вполне логичных наблюдениях и выводах, и, как следствие, провела бесчисленные часы в малоприятной обстановке, дожидаясь Лоренса, когда он, скорее всего, сидел один совсем в другом буфете в каких-то двухстах ярдах от Аманды и даже не подозревал о ее существовании.

В довершение всего судьба сыграла с ней еще одну злую шутку. Аманда посвятила себя тому, чтобы выяснить адрес Лоренса, и однажды на доске жилищной службы увидела объявление, что в его доме освободилась комната. Она сняла эту комнату, перевезла большую часть вещей и лишь потом, через одну свою знакомую, выяснила, какую комнату занимает Лоренс, и ей честно сообщили, что две недели назад он съехал и теперь обитает в студгородке, то есть там, где прежде жила Аманда. Вот почему,

когда Пол позвонил по номеру, найденному в ежедневнике Лоренса, трубку сняла Аманда; впрочем, ее осведомленность о недавних перемещениях Лоренса должна до поры до времени полежать под спудом.

— Я в недоумении, — признался Лоренс, — от того, что вы мне сейчас сообщили. Имя Аманда ничего мне не говорит.

— Думаю, с именем я не ошибся, — ответил Пол. — И поверьте, она, похоже, очень хорошо знает вас. Честно говоря, ее голос звучал весьма взволнованно. По-моему, она считает, что у вас какие-то неприятности.

— Неприятности?

— Она что-то сказала про полицию. — Пол заметил, что при этом слове Лоренс напрягся, и добавил: — Вы не... вы, случайно, не в бегах или что-то в этом роде?

— Вообще-то нет, — неуверенно пробормотал Лоренс, а затем уже тверже добавил: — Нет, вовсе нет. Я все равно хотел на несколько дней уехать из Ковентри. Как я уже говорил, навестить сестру в Дерби. Просто так вышло, что я выбрал для этого весьма удачное время.

— Да? А что такое? Вас в чем-нибудь подозревают?

Лоренс чувствовал, что самое меньшее, чем он может отплатить за гостеприимство, — рассказать все, а кроме того, объяснение давало ему еще одну возможность проиллюстрировать свою теорию человеку, в котором он нашел внимательного слушателя. Поэтому Лоренс начал:

— Ну, скажем так, Пол, у меня определенные наклонности. Например, упомянув любимого человека, который работал в газетном киоске, я мог бы уточнить, что этот человек — мужчина.

Услышав такое признание, Пол и бровью не повел, лишь произнес:

— Вот как?

— Но с недавних пор эти наклонности спровоцировали у меня то, что нельзя поименовать иначе, чем вредная привычка. Одним из самых больших наслаждений в моей жизни стали туалеты, общественные туалеты, я захожу туда, оставляю послания и получаю ответные послания. Которые иногда приводят к свиданиям. А свидания иногда носят плотский характер.

— Ну, насколько мне известно, в этом нет ничего незаконного.

— Видите ли, здесь есть одно обстоятельство. Двадцать один год мне исполнится лишь в этом году.

— Понимаю. Значит, формально вы нарушили не самое прогрессивное законодательство нашей страны в данной области.

— Именно. И до сих пор у меня никаких проблем не возникало, но на этой неделе кое-что случилось. Некий инцидент. Должен признаться, он

меня очень встревожил. Я отправился в город за покупками и решил заскочить в одно из своих обычных местечек, поглядеть, нет ли для меня записки. Ничего обнадеживающего я не обнаружил, а потому решил написать что-нибудь сам. А когда я выходил из кабинки, у раковины стоял полицейский, мыл руки и наблюдал за мной в зеркало. Он внимательно смотрел на меня, буквально изучал мое лицо, а затем и вовсе последовал за мной. Я прибавил шагу и свернул к одной из торговых улиц, где всегда толпы народу. И перед тем как оторваться, я услышал, как он крикнул: «Прошу прощения, сынок», и тогда я рванул со всех ног и влетел в магазин «Джон Мензис». Наверное, я оторвался, так как больше я его не видел.

Лоренс честно рассказал свою историю, но, боюсь, он был не в курсе кое-каких деталей, которые позволили бы дать событиям совсем иную интерпретацию. Откуда ему было знать, что вышеупомянутый полицейский рвался в то утро сообщить своему приятелю зеленщику, что не сможет, вопреки обыкновению, сразиться в этот четверг в дартс, поскольку на этой неделе его дежурство неожиданно передвинули? И что Лоренс более чем отдаленно походит на сына этого зеленщика, причем полицейский видел парня всего однажды, мельком, в сумрачном освещении бара первого класса в пабе «Заяц и гончие»? Так что происшествие это было порождением обычного недоразумения, и Лоренса в действительности никто и ни в чем не подозревал.

— Я понимаю, почему этот случай вас встревожил, — сказал Пол. — Но вряд ли это причина для бегства.

— Это произошло два дня назад. А вчера случилось кое-что похуже. Я вернулся к себе в комнату в студгородке и прошел на кухню сварить себе кофе. И тут входит сосед и говорит, что заходил полицейский и спрашивал меня. Что он назвал меня по имени. Полицейский не сообщил, зачем я ему понадобился, но мне кажется, я догадываюсь.

И опять Лоренс поспешил с выводами, поскольку давешний гость был вовсе не полицейским, а третьекурсником с биофака, по имени Кевин Кронин, который оделся в форму полицейского для участия в любительском спектакле «Добыча» по пьесе Джо Ортона, ибо на тот день назначили генеральную репетицию. Но роль полицейского в «Добыче» совсем крошечная, о чем хорошо осведомлены те из вас, кто учится на театроведа, и Кевин воспользовался длинным перерывом между своими появлениями на сцене, чтобы заглянуть к Лоренсу с вполне невинной целью: будучи страстным фотографом-любителем, он хотел взять ключ от темной комнаты, который Лоренс, секретарь фотоклуба, хранил у себя.

— Вот так, — сказал Лоренс. — Возможно, все это пустяки, но меня

тревожит, что эта Аманда, кем бы они ни была, что-то знает и контактирует с полицией. Возможно, это она им сообщила. Возможно, она ведет личный крестовый поход против людей вроде меня.

— Сочувствую, — отозвался Пол. — Мы живем в обществе, где даже либеральные ценности, которые вряд ли можно назвать радикальными, постепенно подавляются. Однако, если позволите сделать маленькое замечание, мне кажется, вы только что доказали несостоятельность своей собственной теории. Итак, вас несправедливо преследуют за вашу сексуальную ориентацию. Но это означает, тут нет места везению или невезению. Чем определяется сексуальная ориентация? В основном генетической предрасположенностью. Кроме того, здесь имеет место элемент личного выбора.

— Сексуальная ориентация, — с улыбкой сказал Лоренс, — действительно оказывает огромное влияние на поступки человека. Это верно как в отношении молодой женщины, которая обнаруживает, что беременна и потому вынуждена выйти замуж, так и в отношении члена правительства, который строит государственную политику под влиянием своих садомазохистских побуждений. Но должен заметить, что в моем случае свобода выбора практически отсутствовала. Свою гомосексуальность я объясняю тем, что в сезоне 1978–1979 годов «Челси» вылетел из премьер-лиги.

Пол рассмеялся:

— Верится с трудом. Но я не сомневаюсь, что получу от вас объяснения.

— Разумеется, — согласился Лоренс. — Видите ли, период полового созревания имеет решающее значение для формирования личности. В такой период многих подростков посещают гомосексуальные фантазии, многие даже получают опыт, особенно если они учатся в закрытой школе для мальчиков, хотя в моем случае это не так. Как бы то ни было, именно в этом деликатном возрасте я получил первое и единственное любовное письмо. Его анонимно подложили в мой портфель с учебниками. Я очень взволновался и несколько дней гадал, кто из одноклассниц мог написать письмо. Затем как-то раз во время большой перемены я решил послушать одного парня-старшеклассника о его поездке в Африку на каникулах, и когда он начал писать на доске, я с изумлением узнал тот самый почерк. Записка была от него! Поначалу я был ошеломлен, но потом, обдумав все, что он писал обо мне, я почувствовал себя польщенным. И я совершенно втюрился в него, и в конечном счете я набрался храбрости заговорить с ним.

— И?

— Ну, видите ли, выяснилось, что записка предназначалась вовсе не мне. А моей сестре, которая ходила в ту же школу, только на три класса старше. У нее был очень приметный портфель с эмблемой клуба «Челси», но, как и у многих людей, кто всерьез не интересуется футболом, ее увлечение быстро прошло, а когда команда вылетела из премьер-лиги, сестра переметнулась в лагерь «Ливерпуля», потому что этот клуб как раз стал чемпионом. Естественно, портфель с эмблемой «Челси» ей оказался ни к чему, и она отдала его мне. И на следующий день этот Несчастный подложил в него любовное письмо. Для меня дело кончилось тем, что я два семестра мечтал о том, чтобы стянуть с него штаны, и в конечном итоге обзавелся первым сексуальным контактом — с его другом, когда мы принимали душ после кросса. С тех пор я никогда не пытался изменить сексуальную ориентацию. — Лоренс снова улыбнулся и допил чай, проглотив несколько чаинок. Затем его лицо стало еще более обеспокоенным. — А эта Аманда, вы не сказали ей, где я?

— Нет, разумеется, — ответил Пол и непринужденно предложил: — Надеюсь, вы пообедаете?

— С удовольствием, — обрадовался Лоренс. — А затем я все-таки должен добраться до Дерби.

— Тогда я схожу в магазин, — сказал Пол, — и что-нибудь куплю.

Пол, конечно же, лгал, но у него была веская причина: Аманда убедила его, что Лоренс склонен к самоубийству, и он обещал удержать его дома до ее приезда.

Теперь, я полагаю, вы захотите знать, каким образом Аманда пришла к такому выводу.

Дело в том, что сестра Лоренса, весьма благородная молодая женщина, работала в благотворительном обществе «Самаритяне»,^[8] и Лоренс, не сумев дозвониться ей домой, позвонил ей на работу. Аманда, как обычно, весь день следовала за ним по пятам, и она находилась в пределах слышимости, когда Лоренс произнес: «Алло, это „Самаритяне“?». Отсюда, вкупе с его беспокойным поведением и поспешным бегством из студгородка, Аманда сделала ошибочный, хотя и вполне логичный вывод.

А Лоренс, поговорив с сестрой, кинулся в свою комнату, лихорадочно озираясь и выглядывая полицейских, побросал вещи в сумку, задержавшись лишь для того, чтобы спросить у соседки таблетки от укачивания (его часто укачивало в транспорте). «Нет, — ответила та, — но у Тимоти дверь открыта, и у него точно они есть — посмотри на книжной полке». И это действительно было так еще три дня назад, но с тех пор Тимоти успел

расстаться со своей подружкой. Это событие ввергло его в депрессию, которую он как-то утром решил перебороть, переставив в комнате мебель, и процедура эта, помимо прочего, повлекла за собой перемещение таблеток от укачивания в ящик письменного стола и перемещение снотворных таблеток на книжную полку. Пока поезд шел до Дерби, Лоренс принял не меньше четырех таблеток (недоумевая, почему они совсем не действуют), поэтому нет ничего удивительного в том, что он находился в полубессознательном состоянии, когда Пол с товарищами встретил его на вокзале в Шеффилде.

Примерно час спустя Пол с Лоренсом принялись за обед, состоящий из тостов и сыра, и тут раздался стук в дверь. Пол пошел открывать, Лоренс последовал за ним, но в коридоре замешкался. Визитерами оказались двое полицейских и женщина, в которой он сразу угадал Аманду.

— Он здесь? — спросил один из полицейских.

— Да, — ответил Пол.

— Хорошо. Теперь давайте с ним поговорим.

Лоренс повернулся и бросился вверх по лестнице. Полицейские рванулись было за ним, но Пол остановил их:

— Ничего страшного, этим путем он не выберется.

И полицейские остановились.

— Идиот, нам нужно тревожиться не из-за этого! — крикнула Аманда. — Что там с окнами наверху? Позвольте мне подняться и поговорить с ним?

Она преодолела два лестничных пролета и обнаружила Лоренса в самой верхней комнате — открывающим окно с явным стремлением выбраться на карниз.

— Подойдешь ближе, — предупредил Лоренс, — и я прыгну. Я серьезно.

Он не лгал, поскольку, если в данном месте мы обратимся к психологии (которая, надо признаться, до сих пор не являлась сильной стороной этой истории), то поймем, что Лоренс искренне считал свою жизнь не особенно ценной, и если цепь обстоятельств, которую мы только что проследили, вынуждала его совершить преждевременное и невольное самоубийство, то его это вполне устраивало. Стоя на карнизе, балансируя между Амандой за спиной и Полом с двумя полицейскими в саду, он почти испытывал желание прыгнуть. И он вполне мог прыгнуть.

Что же в таком случае ему помешало? Так получилось, что ему помешал прорыв водопроводной трубы, произошедший накануне вечером в доме, который находился в четырех милях, на другом конце Шеффилда.

Такое объяснение, если бы Лоренс когда-нибудь его услышал, доставило бы ему большое удовольствие. Упомянутый дом являлся собственностью некоего Нормана Ланта, который работал учителем математики в средней школе, расположенной на улице прямо напротив сада Пола. Накануне мистер Лант весь вечер собирал воду с пола на кухне и потому не успел проверить домашние задания, так что ему предстояло проверить за обеденный перерыв тридцать четыре работы. Поскольку мистера Ланта беспрерывно отвлекали гам и сквернословие мальчишек, игравших в футбол прямо под окном учительской, он весьма недвусмысленно велел футболистам убираться прочь и продолжить игру где-нибудь подальше. Вот почему шесть школьников отправились доигрывать матч в дальний конец спортплощадки, расположенный рядом с проезжей частью, где в любом ином случае им никогда бы не пришлось в голову играть в футбол; поэтому когда один из игроков, подающий надежды правый форвард по имени Питер, нанес по воротам удар с лета, находясь глубоко на половине противника (а значит, он, скорее всего, находился в положении «вне игры»), мяч перелетел через забор, взмыл вверх и ударил Лоренса под дых как раз в тот момент, когда он собрался прыгнуть. Лоренс опрокинулся назад и упал на кровать, не успев даже сообразить, что случилось.

— С тобой все в порядке? — закричала Аманда. — Ты цел?!

Она обняла его и крепко-крепко прижала к себе. И Лоренс был потрясен, потрясен сильнее, чем когда-либо в жизни, — дрожью в ее голосе, глубиной чувств, которые выдавал этот голос, теплом и силой ее рук, которые сжимали его и нежно баюкали. Он посмотрел ей в глаза, полные слез, и спросил себя, кто она и почему так за него переживает. А еще он спросил, каким образом это неожиданное развитие событий вписывается в его теорию. Он думал и думал, а она все баюкала его, а он никак не мог решить, действительно ли все, во что он верил, оказалось одним махом опровергнуто, или же происшедшее означает, что за него приняли еще одно решение — быть может, самое важное в его жизни.

Эмма закончила читать и первым ее порывом было позвонить Робину. Она не сомневалась, что рассказ нельзя использовать против него, но ей хотелось бы прояснить некоторые вопросы, и немедленно; рассказ оставил какое-то неуютное чувство, что-то в намерениях Робина, в его позиции осталось непонятным. Эмма могла либо позвонить из ближайшей телефонной будки, либо подождать до дома; второй вариант осложнялся тем, что Марк наверняка станет подслушивать. В более ясное и спокойное время Эмма, без сомнения, задумалась бы над этой странностью: ее

смущает мысль, что муж услышит, как она звонит клиенту. Но сейчас она и на секунду не удосужилась подумать, что за возможность скрывается за этим смущением — возможность, что мужу вряд ли понравится Робин, даже точно не понравится.

Поэтому на обратном пути в Ковентри она позвонила Робину из телефонной будки, но никто не ответил.

За две улицы от дома она остановила машину и минут десять сидела в темноте, репетируя свои реплики в грядущей ссоре. Где ты была? Ты понимаешь, что уже одиннадцатый час? Мне нужно было съездить в Уорик. Зачем — опять работа? Да, в своем роде. Ты, наверное, сердись, что я не приготовила ужин. Ну что ты, я не рассчитываю, что ты будешь мне служить верой и правдой, и, кроме того, я вполне способен приготовить еду сам; просто приятно иметь хотя бы смутное представление о том, где находится твоя жена в пятницу в десять часов вечера, только и всего. Хорошо, может, ты хочешь, чтобы я начертила тебе схему моего маршрута с приложением подробного расписания? Не надо этой едкости, Эмма, просто у меня был тяжелый день. Не у тебя одного.

Молчание.

Внезапно Эмме стало страшно сидеть в одиночестве на этой темной летней улице, она завела машину, и гудение мотора оглушило ее. Впереди показался дом, все окна темные. Эмма ощутила облегчение, но в следующий миг напряглась и тут же рассердилась на себя за то, что отвратительные подозрения по поводу Марка устремились сквозь бреши в ее хрупком сознании. Почему это он работает допоздна в пятницу вечером? Подобное усердие давно ему не свойственно; ей на память пришли те времена, когда Марк был врачом-стажером и жил при больнице. Возможно, он просто вышел что-нибудь купить в китайской забегаловке за углом. Но сигнализация включена, шторы задернуты, да и весь дом, когда она переходила, словно незваный гость, из одной темной комнаты в другую, еще более темную комнату, казался мертвым и пустым.

Глядя на свое отражение в оконном стекле, Эмма приготовила себе сэндвич, налила молока и поняла, что не в силах притронуться к еде. От тишины, царившей в доме, было не по себе. Еле слышно гудел холодильник, с улицы, откуда-то издалека, доносился собачий лай.

Когда Эмма поднималась по лестнице, она уже всецело была во власти смутного беспокойства. Ее не покидало чувство, будто в доме укрылось что-то недоброе, — ощущение чужого присутствия и настороженной враждебности; напряжение и угроза, таившиеся вокруг, казалось, даже превосходили те, что сулил обед с Алуном, с его утомительными,

крючкотворскими запугиваниями. На верхней площадке Эмма опять остановилась и внимательно прислушалась к нервной тишине. Затем прошла в ванную и наспех умылась. В последний раз она замешкалась перед дверью в спальню, недоумевая, почему та закрыта, пытаясь вспомнить, закрывала ли она ее перед уходом на работу. Обычно она никогда не закрывала спальню.

Она открыла дверь и включила свет. Марк резко приподнялся в постели и зажмурился, а Эмма совершила ошибку, вскрикнув: короткий, высокий, негромкий вскрик, но все-таки вскрик.

— Что с тобой, черт возьми? — спросил Марк.

Она села на самый краешек кровати.

— Ты меня напугал. Я испугалась, не знаю почему. Я подумала, что в доме кто-то есть.

— Так оно и было. В доме был я.

— Да, знаю. Но я думала, тебя нет.

— Нет? А где я могу быть в такое время? Марк картинно приподнялся на кровати, поправил пижаму, подтянул одеяло. Туфли Эмма скинула, как только вошла, и теперь принялась расстегивать юбку.

— Прости, я тебя разбудила?

— Да, я почти заснул.

— Рановато для сна, тем более в пятницу.

— Я устал.

— Так много было работы?

Странно, какими удобными иногда могут оказаться эти ритуальные вопросы; помогают потянуть время и соорудить психологическую защиту.

— Достаточно.

Эмма ждала встречного вопроса о том, где она была, но Марк его не задал. Она разделась до нижнего белья, накинула халат.

— Ты не ложишься?

— Еще нет. Я приготовила себе перекусить. Хотела посмотреть телевизор, может, какой-нибудь фильм покажут.

— Ладно, — сказал Марк, глядя, как она выходит из комнаты, — если надумаешь вернуться, постарайся не шуметь.

Но два часа спустя, когда Эмма леглась в постель, Марк все еще не спал. По телевизору и впрямь показали фильм, и его даже можно было посмотреть. Эмма забралась под одеяло рядом, Марк не пошевелился и ничего не сказал, но она почувствовала, что он не спит, и решила ласково положить руку ему на плечо. Реакции не последовало, и Эмма прошептала:

— Прости, что так поздно сегодня.

Марк повернулся и обнял ее.

— Все в порядке. — И опять не спросил, где она была, и мгновение примирения, которого она с таким напряжением ожидала, улетучилось.

— Такой неудачный день? — спросила Эмма, желая разговорить его.

— Да нет, обычный. Впрочем, похоже, я опять ввязался в обреченную битву.

Последовала долгая пауза, во время которой Эмме почудилось, будто Марк хочет что-то сказать ей. Но когда он снова заговорил, оказалось, что это совсем не те слова, которых она ожидала.

— Я сегодня обедал с Лиз.

— С Лиз?

— Лиз Ситон. Знаешь, педиатр. Ты однажды ее видела.

— А.

— Не помнишь?

— Да, не помню, чтобы встречалась с ней. Но имя мне знакомо. Ты время от времени ее упоминаешь.

— Правда?

— Да. Такое ощущение, что это имя постоянно всплывает. Ты ведь часто с ней видишься? За обедом и не только?

— Не, не часто. Даже редко.

— Забавно, не правда ли?

— Что забавно?

— Забавно, что ты так много о ней говоришь, если почти с ней не видишься.

— Не так уж много я о ней говорю.

— А почему вообще вспомнил о ней? За обедом случилось что-то необычное?

— Нет, мы просто пообедали, только и всего.

— Тогда зачем об этом говорить? Это самая неотложная вещь, которую тебе понадобилось сказать мне в час ночи, хотя мы не разговаривали весь день?

Марк высвободился из ее объятий, которые и без того уже стали отчужденными, и приподнялся на локтях.

— Ради бога, Эмма, я просто поддерживаю разговор. Я рассказываю, как провел день, это ведь совершенно естественная штука для мужа и жены. Ведь это разумно? Я хочу сказать, что было бы неплохо, если бы и ты так поступала, хоть изредка. Расскажи мне что-нибудь. Расскажи, как ты провела день. Где ты обедала?

— Ничего особенного в моем обеде не было. Съела несколько

сэндвичей в Мемориальном парке, — ответила Эмма после недолгого, но отчетливого замешательства. Испугавшись тишины, которая грозила повиснуть сразу после ее слов, она добавила: — Мне хотелось подумать.

— Подумать? О чем?

— Об одном деле.

— Понятно. Интересное дело?

— Да. Да, интересное.

Эмма никогда не испытывала меньшего интереса ни к делу Робина, ни к ходатайствам в этой связи, чем в тот момент. Это равнодушие не исчезло и к утру, а потому она читала письмо Теда, которое пришло после завтрака, с утомленным отсутствием любопытства и разочарования, которое еще несколько дней назад было бы немыслимо.

*«Буковая роща»,
подъем Бельвью 34,
Уокингем, Суррей*

Уважаемая миссис Фицпатрик, Прежде всего приношу свои извинения за промедление с этим письмом. Можете быть уверены, что причиной тому, и единственной причиной, является та серьезность, с которой я подошел к Вашей просьбе предоставить информацию.

Известия о Робине, как Вы, вне всякого сомнения, понимаете, оказались для меня настоящим потрясением. Я все еще содрогаюсь от мысли, что мы вместе выпивали, — и, что еще хуже, он сидел на месте пассажира в моей машине — всего за несколько часов, даже минут до того, как он совершил этот чудовищный проступок (хотя, разумеется, следует помнить, что человек невиновен, пока не будет доказано обратное). Возможно, такое суждение покажется невеликодушным по отношению к человеку, которого, как я по наивности своей считал, я хорошо знаю, но, видите ли, этому имеется простое объяснение — у меня самого есть сын.

Думаю, я, сам того не сознавая, уже изложил причины того, почему я отказываюсь свидетельствовать в пользу Робина. (Наверное, мне следует Вам сообщить, что я дам аналогичный ответ и мистеру Барнсу, который, как Вы, вероятно, знаете, поддерживает обвинение.) Я чувствую свою близкую причастность к событиям того ужасного дня и вряд ли сумею достичь необходимой степени отстраненности. Моя жена со мной согласна, и я не сомневаюсь, что и Вы, будучи женщиной, меня поймете.

Наконец, несмотря на то, что я желаю Вам удачи в деле Робина, я

должен также выразить надежду, как человек, твердо верящий в честность и справедливость, что правосудие свершится.

С совершеннейшим почтением,

Эдвард Пэрриш.

* * *

Ко времени следующего визита Эммы в паб «Порт» произошла маленькая революция, которая началась с того самого неудачного объятия в предрассветные часы, в ночь с пятницы на субботу.

Они с Марком почти не говорили друг с другом, оба чувствовали, что эту тему еще рано выносить на обсуждение. Но теперь Эмма знала, что он любит другую женщину, и она дала понять, что знает. Разговоры между ними практически прекратились, вне зависимости от темы. Всю неделю Марк искал предлоги задерживаться на работе допоздна, ужинать вне дома, в среду и вовсе не пришел ночевать. А вечером в четверг случилась, короткая, но решающая ссора: Марк объявил, прекрасно сознавая все значение своих слов, что в эти выходные он не сможет присутствовать на свадьбе у Хелен, подруги Эммы по колледжу. Ей придется пойти одной.

Одновременно с этим Эмма вдруг поняла, что на работе ее будто что-то подстегивает, что она управляется с делами быстрее обычного, но вместе с тем она поняла и другое: работает она теперь не так вдумчиво, не так скрупулезно, не так увлеченно. К пятнице она практически утонула в безразличии. Она едва не забыла, что собиралась пообедать с Алун, и опоздала чуть ли не на час. Алун не стал скрывать раздражения.

— Если вы позволите мне заметить, — сказал он, пододвигая к ней белое вино и минеральную воду, которые, не спрашивая ее, заказал заранее, — выглядите вы не лучшим образом. И похоже, у вас проблемы со сном. Я прав?

Эмма пожала плечами.

— Я действительно немного устала.

— Много дел?

— Нет, не очень. Справляемся без спешки.

— Тогда, — он устремил на нее испытующий взгляд, — как дела дома?

— Так себе, — демонстративно ответила она.

— Вижу, вы не хотите об этом говорить. Ваше право. Полагаю, у нас

есть другие темы для разговора. Вы принесли рассказ?

— Да, он здесь.

Эмма достала блокнот из портфеля и положила на стол между ними. Она вдруг поняла, что плохо помнит рассказ, и тайком проглядела первую страницу, словно школьница в ожидании вопроса, о чем ее домашнее задание.

— Значит, вы понимаете, что я хочу сказать? Вы понимаете, почему он проливает совершенно иной свет на человека, которого вы защищаете?

— Честно говоря, не очень. Это всего лишь рассказ.

— Вовсе нет. В том-то все и дело, что нет. Начнем с того, что главный герой чрезвычайно похож на самого Гранта. Тот же род занятий, тот же образ жизни, те же гомосексуальные наклонности.

— Постойте-ка...

— Позвольте мне договорить, Эмма, позвольте мне договорить. — Она пригубила вино, потрясенная его раздраженной нетерпеливостью. — Дело не только в этом, но и в том, что в рассказе излагается система, философия жизни, которую многие люди сочтут оскорбительной и безответственной. Герой рассказа отрицает, что несет какую-либо ответственность за свои поступки, даже за свое сексуальное поведение. Более того, герой вознагражден за свою безответственность, поскольку остается цел и невредим, да еще в объятиях женщины, которая влюблена в него. Полиция в рассказе выставлена в смешном свете, и не сделано ни единой попытки намекнуть, что человек должен отвечать за последствия того, как он обращается с другими людьми. Извращенная сексуальная ориентация преподносится в рассказе как совершенно нормальная, автор даже превозносит те недоразумения и неприятности, которыми чревато такое положение дел. В довершение всего в рассказе отчетливо звучит снисходительное отношение к терроризму.

Эмма вертела в руках бокал, пытаясь обдумать то, что собирается сказать.

— Да, в рассказе есть вещи, которых я не понимаю, — произнесла она наконец, — но мне кажется, вы воспринимаете его слишком всерьез. По-моему, этот рассказ — своего рода шутка.

Она сознавала, что требуется аргумент получше.

— Разве сейчас он производит впечатление человека, склонного к шуткам? — спросил Алун.

— Сейчас, конечно, нет. Но ведь рассказ написан некоторое время назад, не так ли? И вообще, когда я говорю, что это шутка... я вовсе не имею в виду, что рассказ призван рассмешить. Я хочу сказать, что отчасти

рассказ написан серьезно. Возьмем отрывок, где-то в середине, когда кто-то говорит... ну, то место, где эти двое беседуют. И один из них говорит... я точно не помню что, где-то в середине, сейчас...

Она принялась листать блокнот, от паники у нее стиснуло горло, но Алун твердо вынул блокнот из ее пальцев.

— Да и вообще, зачем нам спорить из-за какого-то рассказа, тем более что вы его плохо помните? Нет смысла копаться в мелочах. Суть в другом: что этот рассказ говорит об авторе? Написан ли он человеком, который вызывает доверие, привлекателен, уравновешен... нормален? Вы бы употребили эти слова в отношении автора этого рассказа?

Эмма с неохотой призналась:

— Ну, эти слова не пришли бы мне на ум первыми.

— Вот именно. И все-таки вы ему доверяете.

— Да, — сказала Эмма, — доверяю.

— Иногда я вас не понимаю. Честное слово, не понимаю.

— Вы по-прежнему хотите, чтобы я уговорила его признать себя виновным?

— Вы знаете, какие в этом есть выгоды.

— Да, я знаю, какие в этом есть выгоды.

— Но вы этого не сделаете?

— Не думайте, что можете меня запугать, Алун. Я предпочитаю решать такие вещи сама.

— Вы хотите сказать, что еще не решили?

— Я этого не говорила.

И все же она поняла, когда через каких-то пять минут Алун извинился и ушел, — она поняла, что он считает себя победившим. Эмма не могла взять в толк, почему она вдруг уступила, почему дело Робина показалось ей таким незначительным, почему она так сплеховала в поединке с адвокатом, который, как она знала (точнее, знала до недавних пор), и в подметки ей не годился. Какое-то время она кляла себя, но из-под слоя гнева и злости вдруг проклюнулась мысль, запретная мысль, и, прежде чем Эмма успела ее подавить, мысль успела оформиться с совершеннейшей отчетливостью: она жалела, что вообще взялась за дело Робина.

* * *

Маленькая англиканская церковь в пригороде Бирмингема, субботнее

утро, близится полдень; мелкий моросящий дождичек; от испепеляющего июльского зноя остались одни воспоминания.

Эмма виделась с Хелен гораздо реже, чем ей того хотелось, и она уже несколько недель предвкушала эту свадьбу. Специально к этому событию Эмма купила новую шляпку и новое платье, но едва она переступила порог церкви (сомневаясь из-за полного отсутствия людей на паперти, в ту ли церковь пришла), как поняла, что оделась слишком парадно. Она забыла, что Хелен не пользуется благосклонностью родственников, большинство из которых к тому же обитало в Уэльсе, никто из них приехать не удосужился. Что касается родственников жениха, то они являли жалкое зрелище; кое-кто явно был не в настроении оттого, что пришлось субботним утром вырядиться в костюм и галстук, вид у них был помятый, словно с похмелья. Собралось в церкви никак не более двадцати человек. Эмма проигнорировала распорядителя и села рядом с первой попавшейся на глаза знакомой — двоюродной бабушкой Хелен, которую она видела всего раз на дне рождения. Старушка поздоровалась, но Эмма поняла, что та ее не помнит, и разговор увял на корню. Что ж, раз она никого здесь не знает, то не придется извиняться за отсутствие Марка.

Дожидаясь появления Хелен, Эмма медленно погружалась в депрессию. Она понимала, что ее состояние отчасти вызвано убожеством церемонии. Она узнала мелодии, которые играл органист, и догадалась, что их выбрала Хелен: невыразительная, унылая музыка, запомнившаяся Эмме со времен юридического факультета. Со своего места она могла разглядеть органиста, он сидел выше и правее мест для певчих, немощный и очень старый человек, неловко промахивавшийся мимо клавиш. Эмма понимала, что, когда дело дойдет до гимнов, исполнение окажется нестройным и тусклым. Но иначе и быть не могло: любая свадьба обязательно напомнила бы ей ее собственную, что состоялась шесть лет назад. Хелен там тоже была. Эмма тогда очень гордилась собой, но, возможно, подруга поступила умнее, отложив замужество до более позднего времени. Эмма вдруг осознала, что свадебные поздравления дадутся ей нелегко.

Она обернулась, чтобы посмотреть, как идет по проходу Хелен, и нашла подругу бледной и перепуганной; взгляды их встретились, и они обменялись дрожащими улыбками.

Служба шла, а Эмма чувствовала, как силы постепенно оставляют ее. Как бы ей хотелось иметь рядом локоть, на который можно было бы опереться, пусть и локоть мужа. По счастью, сидевшая рядом двоюродная бабушка позволяла себе временами пустить слезу поэтому Эмма не так стеснялась промокать глаза платком, но под самый конец, когда она уже

думала, что благополучно пережила церемонию, ее прорвало. Это произошло во время последнего гимна, который — так уж получилось — некогда (в те давние времена, когда она имела привычку посещать церковь) был одним из ее любимых. Мотив нравился ей и сам по себе, но особое значение ему придавало то, что этот гимн звучал и на ее свадьбе. И теперь, после первых двух строк, исполненных трясущимися руками органиста в рваном ритме, пронзительно и неуверенно, внутри нее поднялась ужасающая тоска.

Господь и человечества отец,
Прости нам безрассудства наши.

И Эмма громко рыдала, перекрывая пение, и люди оборачивались на нее, и она упала на колени, и двоюродная бабушка, превратно поняв ее слезы, положила ей на плечо костлявую руку и сияла славной улыбкой.

* * *

На приеме, который состоялся в доме родителей Хелен, первое, что сказала Эмма старой подруге, было:

— Хелен, прости. Я не знаю, как это случилось. Я все испортила.

— Ничего ты не испортила. Не говори глупостей. — Хелен еще не сняла подвенечное платье. — Послушай, давай отойдем и поговорим? Я не видела тебя целую вечность.

Они вышли в сад и пробрались мимо тех гостей, что согласны были мириться с серым небом и дождливой перспективой. В их число входил жених по имени Тони и компания его приятелей.

— Привет, Эмма, — сказал Тони. — Хорошо выглядишь.

— Спасибо.

— Марк сегодня не с тобой?

— Сегодня нет. У него дела.

Тони поцеловал жену, и женщины продолжили путь. Эмма услышала, как один из друзей спросил:

— Кто такой Марк? И Тони ответил:

— Ее муж.

Тогда друг покачал головой и мечтательно произнес:

— Счастливчик.

Почти сразу за садом начиналось водохранилище Эдгбастон, выйдя через калитку, они по тропинке спустились к самой воде и сели. Земля была сырой, но им было все равно.

— Эмми, — начала Хелен, — скажи мне, что происходит?

Эмма некоторое время поплакала на плече у подруги, а затем приступила к рассказу.

— Хелен, что мне делать? — спросила она, после того как все рассказала. — Что я могу сделать?

— Ну а что тебе хочется сделать?

— Не знаю. Я больше не могу находиться рядом с ним. Я больше не могу находиться в этом доме.

— Тебе есть куда пойти?

— Нет. Не знаю. К родителям, наверное.

— Возможно, тебе так и следует поступить, хотя бы на время. Возьми отпуск Ты можешь себе его позволить? У тебя сейчас много дел?

Эмма подняла голову и начала вытирать глаза.

— Не очень. Вернее, всего одно дело, которое требует больших усилий.

— Что за дело?

Эмма рассказала историю Робина и объяснила, при каких обстоятельствах ей посоветовали, чтобы он признал себя виновным.

— Почему бы тебе так и не поступить? Ты уверена, что он не виноват?

— Да, я была более-менее уверена.

— Но послушай, ему самому было бы гораздо проще, если бы он признал себя виновным, разве нет? Ведь тогда приговор будет менее суровым? К тому же мальчику тогда не придется давать показания в суде, правильно? Ты наверняка сможешь его убедить. Я бы так и поступила.

— Может быть.

— И в этом случае ты сможешь вырваться в небольшой отпуск?

— Наверное. Где-нибудь на недельку.

— Тогда так и сделай, Эмма, ради бога. Хоть раз в жизни подумай о себе. Когда ты в последний раз думала о себе?

Эмма нашла в себе силы выдавить легкую благодарную улыбку и посмотрела на облака, отражавшиеся в водохранилище, по которому поднявшийся ветер гнал небольшие волны. Она уже подбирала слова, которыми сообщит Робину эту новость.

Часть третья

Милые бранятся

Пятница, 18 апреля 1986 г.

Кажется, весь мир ополчился против меня, думал Робин, сидя на скамейке в парке и глядя, как уходит Тед.

У меня в голове столько теорий, столько литературных теорий, но я, хоть убей, не могу перенести их на бумагу. У меня в голове столько рассказов, и все эти рассказы я каким-то чудом умудрился перенести на бумагу, но их никто и никогда не прочтет. Вечерами я брожу от дома к дому, распространяя листовки с призывом к одностороннему разоружению и миру во всем мире, а так называемый лидер так называемого свободного мира однажды утром просыпается и решает убить несколько сотен ливийцев только потому, что он отчасти потерял лицо. Единственный человек, кого я способен любить во всем этом городе, единственная личность, которую я уважаю, настолько озлоблена и рассержена тем, как люди обращаются с ней, что при малейшем неловком моем слове повернулась ко мне спиной. Я рассчитываю спокойно отдохнуть в Озерном крае, а застреваю в Ковентри, разыгрывая роль гостеприимного хозяина перед одним идиотом, который уверяет, что был моим другом по Кембриджу.

Не могу сказать, будто я испытываю неприязнь к Теду. Он внушает мне безразличие, которое, честно говоря, производит довольно бодрящее действие. Пять минут без его общества — и я почти забыл, как он выглядит. Некоторые лица блекнут, как только их обладатели выходят из комнаты. Некоторые лица не блекнут никогда. Никогда-никогда. По крайней мере, я считаю, что они не поблекнут никогда, но мне ведь только двадцать шесть лет. Возможно, когда мне исполнится сорок шесть, я забуду, совсем забуду, как она выглядит. Возможно, мы с Кейт пройдем мимо друг друга на улице в том или ином месте, в Бредфорде или где-нибудь еще, и даже не узнаем друг друга. Но я сомневаюсь. Я не в силах вообразить, чтобы такое случилось. Начнем с того, что я не рассчитываю дожить до сорока шести.

Точнее, я надеюсь, что, если я доживу до сорока шести, я оставлю далеко позади все эти вещи, все эти идеи, если угодно, все эти надежды, которые теперь таскаю на шее, словно мешок картошки; а если мне это не

удастся, тогда я, наверное, во что-нибудь их превращу, тогда мне сполна воздастся за все мое ожидание, и я все-таки стану знаменитым писателем или чем-нибудь в этом роде, и тогда однажды поздно вечером мне в лицо будут светить яркие софиты в какой-нибудь студии и какой-нибудь телеведущий какого-нибудь ночного ток-шоу мне улыбнется и скажет:

— *Быть может, вы поведаете нам о годах, проведенных в Ковентри? Сейчас, оглядываясь назад, вы не считаете, что это были годы вашего становления, становления вашего писательского мастерства и ваших теоретических воззрений? Что вы можете нам рассказать о так называемой «группе Ковентри» и характере ваших собраний?*

И я буду чесать голову, или тереть нос, или закидывать ногу на ногу, и я отвечу, якобы погрузившись в воспоминания:

— Ну, по большей части наши встречи проходили в каком-нибудь невзрачном кафе, и мы разглагольствовали о книгах, которые никто из нас по-настоящему не читал. Мы делали все, чтобы превратить Ковентри в центр интеллектуальных и культурных споров, но, честно говоря, чаще всего нам казалось, что мы ведем безнадежную борьбу. Естественно, мы брали за образец парижскую интеллигенцию 20-х и 30-х годов, но если у Жан-Поля Сартра с друзьями были такие кафе, как «Дом», то мы все больше пили кофе из бумажных стаканчиков в местной закусочной «Бургер Кинг», что напротив автобусной станции, а когда мы чувствовали себя богачами, шли к «Цуккерману», в псевдовенскую кондитерскую в квартале от «Бритиш хоум сторс». В конечном счете все это мне приелось, и после апреля 1986 года я практически отошел от этой группы.

— *А кто в то время входил в эту группу?*

— Ну, конечно, я и еще Хью Фэрчайлд, ныне один из главных специалистов по Т. С. Элиоту, только о нем никто ничего не знает, а также Кристофер Картер, ныне один из самых непонятных и непримечательных английских теоретиков литературы, а еще Колин Смит — как может человек с таким именем не суметь достичь известности? — который почти наверняка стал бы весьма уважаемым поэтом, критиком и литератором, если бы не одна небольшая проблема: по утрам у него были трудности с тем, чтобы вылезти из постели, а кроме того (и это обязательно приходит на ум), он редко удосуживался записывать свои мысли о литературе, которые у него то и дело рождались.

— *Полагаю, университет играл важную роль в вашей интеллектуальной жизни?*

— Да, играл. Именно там мы обычно покупали сэндвичи.

— *Что бы вы назвали основными отличительными чертами вашей*

группы?

— Невыразительность, уныние, крайняя порочность, недоедание и сексуальная неопытность. Вы должны мне простить, если я с горечью отзываюсь об этом периоде своей жизни. Честно говоря, мне трудно вообразить, каким я буду представляться себе через двадцать лет, потому что мне трудно вообразить, что значит быть на двадцать лет старше, чем я сейчас. Ибо я не человек сорока шести лет, я человек двадцати шести лет, и если я оглядываюсь назад на двадцать лет, я вижу себя маленьким человечком, который всегда отказывался пить в школе молоко, и который отказался взять маму за руку когда мы вышли на прогулку, и который считал свою старшую сестру самым замечательным человеком на свете. Так вышло, что теперь я вообще не вижусь с сестрой. Она живет с мужем в Канаде. Редкие письма. И вся сложность в том, чтобы вообразить себя человеком сорока шести лет, состоит в отсутствии понимания, в полном отсутствии понимания того, кто я сейчас. У меня нет никакого ощущения собственной личности, если вы понимаете, что это значит. Я чувствую себя пустым человеком. В такой ситуации встреча с Тедом — это последнее, что мне требовалось, потому что он, по-видимому, имеет ясное представление о том, что я за человек, но это представление настолько не соответствует истине, что оно лишь сбивает меня с толку. Никто по-настоящему не знает, кто я такой, в том-то все и дело, а мне нужен, очень нужен человек, который сказал бы мне, кто я такой. Наверное, только Апарна знает, но она отказывается помочь. Она всегда отказывалась помочь.

— *На мой взгляд, довольно пораженческие настроения. Зачем возлагать ответственность на других? Если вы чувствуете, что утратили стержень жизни, то самое время начать задавать себе вопросы. Напомнить себе о том, что вам дорого. Например, о ваших произведениях.*

— О моих произведениях.

— *Расскажите мне о ваших произведениях. Каковы отличительные черты ваших произведений? Как бы вы могли их описать?*

— Ну, раз вы спросили, мои произведения... вас это действительно интересует?

— *Разумеется. Продолжайте.*

— Мои произведения распадаются на две четко различимые группы. Это художественные работы (не самое лучшее определение, но я не могу подобрать другого) и критические работы. То, что отличает мои художественные работы, что является их общей чертой, что придает им тематическое единство, — все они, без исключения, не опубликованы. Ни

одно произведение не вышло в печатном виде, и ни одно не вызвало ни слова похвалы или одобрения со стороны литературного агента или редактора. Напротив, отказы на некоторые из них были написаны с такой страстностью, которая может сравниться разве что с религиозным пылом. Кроме того, даже внутри этой категории можно провести различие между работами, которые никем не опубликованы, и работами, которые никем не прочитаны. Ибо некоторые произведения — возможно, по этой самой причине — являются самыми типичными, самыми центральными для моего творчества, и эти работы я не смог заставить прочесть даже ближайших друзей. Но обратимся к критическим произведениям, у них несколько иная характерная черта, и заключается она в том, что все эти работы, и вновь все без исключения, не написаны; и потому мои критические статьи существуют только в воображении моего научного руководителя (когда он пребывает в оптимистическом настроении), но даже он, наверное, потихоньку удивляется, почему я до сих пор не показал ему ни одной из них. Хотя в этом контексте следует отметить, что мой научный руководитель не выказал никакого удивления, не говоря уж о неудовольствии, в связи с моей диссертацией, ненаписанной за четыре с половиной года, что является весьма примечательным знаком и позволяет сделать два предположения: либо он на редкость терпеливый и терпимый человек, либо ему глубоко плевать на меня и мою работу, но, как бы то ни было, читать ему ее не приходится. После того как университет получил причитающуюся плату за меня, а он получил свое жалованье, всем стало совершенно безразлично, напишу я что-нибудь или нет. Хотя сам я не могу относиться к этому с полным безразличием. С полным — не могу.

— *Позвольте ли спросить, чем вы занимались эти четыре с половиной года, когда вы должны были писать научную работу?*

— Честно говоря, самыми разными вещами, самыми разными вещами. Я встречался с интересными людьми, вел интересные беседы. Я сидел и думал о том и о сем. Прошу прощения, что я выражаюсь столь туманно, просто мне сейчас сложно продемонстрировать осязаемость своих достижений. Возьмем, к примеру, политику. Несколько месяцев назад я бы наверняка сказал, что политически возмужал с тех пор, как оказался в университете. Теперь я не столь уверен.

— *Вы страдаете от того, что утратили убеждения?*

— Недавние события слегка поколебали мои теории, только и всего. Одно время я пытался высмеивать Лоуренса, но теперь я согласен с его высказыванием о наивности многого из того, что выдается за политику. Сейчас я не хочу об этом говорить, потому что все это бесит меня,

приводит в ярость.

— Но, быть может, ярость — это как раз то, что вам нужно. Вы случайно не имеете в виду бомбардировку Ливии президентом Рейганом, осуществленную совместно с британским правительством? Вы поэтому последние три дня прячетесь у себя в комнате, словно испуганное животное, смотрите все политические программы, слушаете по радио все сводки новостей, осмеливаясь выйти на улицу только для того, чтобы купить газеты?

— Вероятно, это не единственная причина моего нынешнего состояния, но должен признать, что это событие расстроило меня больше, чем любое другое политическое событие на моей памяти. Оно меня пугает, меня пугает агрессия этих людей. Это варвары.

— Соединенные Штаты действовали с целью самозащиты в рамках международного права. Вы же не хотите сказать, что террористам можно позволять оставаться безнаказанными?

— Даже не знаю, как лучше опровергнуть этот аргумент, уж очень много способов. Соединенные Штаты оправдывают свои действия статьей 51 Устава ООН, но если так, почему они не обратились в Совет Безопасности (как поступила даже миссис Тэтчер во время Фолклендского кризиса)? Выступая в четверг в парламенте, Тэтчер объяснила почему: «Потому что Совет Безопасности не может и не умеет эффективно противодействовать терроризму, который поддерживается государствами». Иными словами, они не обратились в Совет Безопасности, поскольку тот не санкционировал бы подобные действия. Рейган надругался над юридической процедурой. Он знал, что нападение на Ливию не является самозащитой, предусмотренной статьей 51, поскольку нельзя с уверенностью утверждать, что террористические акты, за которые он хотел отплатить, поддерживались Ливией, да и сами теракты были не настолько серьезны, чтобы заслужить возмездие подобного масштаба.

— Но Рейган отвечал на два недавних нападения, нацеленных конкретно против американских гражданских лиц и военнослужащих.

— Никто не знает наверняка, что именно Ливия стоит за взрывом в авиакомпании «Ти-дабл-ю-эй». В настоящее время наиболее вероятно, что это дело рук группы Абу Нидала из Ливана. 26 марта эта группа выступила с заявлением, в котором говорилось, что «все американское отныне является целью наших революционеров». Ни в Америке, ни в Британии никто не привел ясных доказательств, позволяющих связать Ливию с этим терактом. Командующий силами НАТО генерал Бернард Роджерс выразился просто: «Не могу сказать, как мы получили эти сведения, но это

так». Тэтчер заткнула рот парламенту, повторив несколько раз, что Ливия «со всей очевидностью поддерживает действия террористов». 14-го числа Джеффри Хау заявил о существовании «неопровержимых доказательств» ливийского участия, но позже источники информации в Уайтхолле заменили «неопровержимые» на «весьма убедительные». Возможно, эти сведения стали известны из прослушивания телефонных линий на Кипре, где перехватили несколько ливийских сообщений, но подобное предположение сугубо умозрительно, поскольку правительство упорно отказывается представить парламенту какие-либо доказательства под предлогом «безопасности». В любом случае, пять американцев погибли во время взрыва «Ти-дабл-ю-эй», и еще один скончался после взрыва в дискотеке в Западном Берлине 5 апреля. Чтобы отомстить за гибель этих людей, Рейган предпринял атаку, в результате которой погибло по меньшей мере сто человек (по самым скромным оценкам), в том числе приемная дочь Каддафи. Среди тяжело раненных есть итальянцы, греки, югославы, а французское, австрийское и финляндское посольства в Ливии полностью разрушены. А вспомните, в октябре 1983 года более 250 американских военнослужащих погибли во время взрыва на военно-морской базе в Бейруте, и пять месяцев спустя американцы ушли из Ливана, не сделав и попытки отомстить за погибших. Практически все последние захваты самолетов и взрывы брали на себя группы, базирующиеся в Бейруте, а не в Ливии, но, как признаются многие американские дипломаты и сотрудники разведслужб, такие страны, как Иран и Сирия, просто слишком сильны, чтобы нападать на них. Вот Рейган и решил сделать козлом отпущения Каддафи, поскольку тот достаточно слаб и на него можно напасть без серьезных последствий. Поэтому Рейган развернул кампанию ненависти против Ливии и выступает с заявлениями, подобными тому, что он сделал 10-го числа: «Мы знаем, что этот бешеный пес Ближнего Востока ставит своей целью мировую революцию, исламскую революцию... возможно, мы для него враги потому, что, подобно горе Эверест, мы существуем». Но как можно мстить за гибель шести человек, послав целый Шестой флот США, в том числе девятнадцать крейсеров, эсминцев и фрегатов, а также два гигантских авианосца (суммарное водоизмещение 140 000 тонн), на которых размещено сто самолетов, в том числе истребители F14 и F18, а также бомбардировщики F111, взлетевшие с авиабаз в Англии?

— Взрывы в компании «Ти-дабл-ю-эй» и в Западном Берлине — это всего лишь верхушка айсберга. В последнее время от взрывов в аэропортах Рима и Вены погибло двадцать западных граждан, а эти взрывы, вне всякого сомнения, дело рук проливийских группировок (если не самих

ливийцев).

— Да, но я не могу принять того лицемерия, из-за которого эти события привлекают всеобщее внимание и вызывают всеобщее возмущение: Соединенные Штаты считают нужным поднимать такой шум только потому, что жертвы — жители Запада. А как быть, к примеру, с сотнями палестинцев, убитых в течение последнего года в лагерях Сабра и Шатала израильскими «террористами» (если уж использовать это слово)? Кстати, мы еще не касались роли, которую сыграло в этом маленьком фиаско наше собственное правительство. Почему только мы одни из всех европейских стран оказались замешанными в событии, которое Горбачев совершенно справедливо назвал «актом бандитизма»? Как может Тэтчер давать согласие на отправку самолетов с таким заданием, а затем благодарить своих сограждан за проявленное «мужество» в ситуации, на которую они никак не могли повлиять? А затем мы вынуждены сносить, как нас благодарит Рейган: «Наши союзники, которые сотрудничали с нами в этой акции (это дословно), особенно те, кто разделяет наши ценности, могут гордиться тем, что отстаивали свободу и право, что, будучи свободными людьми, они не позволили запугать себя угрозой насилия». «Свободные люди» — вы слышали? А нас спросили? Мы давали согласие? Опрос общественного мнения, проведенный в четверг, пятнадцатого числа, показал, что 71 процент британцев считает, что Тэтчер совершила ошибку, дав согласие на использование наших баз (кстати, решение было принято на основании соглашения тридцатипятилетней давности, детали которого до сих пор не опубликованы). В ту же ночь две тысячи людей собираются у Уайтхолла со свечами, протестуя против бомбардировки, и полиция арестовывает 160 человек за «учинение помех». Несмотря на мощную волну протеста, правительство проводит в парламенте чрезвычайные дебаты и выигрывает их большинством в 119 голосов. А согласно президенту Рейгану, мы, оказывается, «свободны». Мы «свободные люди». Прошу прощения, я больше не чувствую себя свободным. Я чувствую себя бессильным, испуганным и разгневанным.

— Пожалуй, нам больше не стоит говорить о политике. Кажется, сейчас это у вас больное место.

— Да, можно так сказать.

— Есть что-нибудь еще, что вас беспокоит? Что-нибудь личное? Например, у вас по-прежнему не получается поддерживать отношения с любимым человеком?

— Ну, хорошо, дайте подумать. Верно, в этом смысле мои достижения

весьма неутешительны, точнее, не столько неутешительны, сколько катастрофичны. Принимая во внимание мои увлечения за последние несколько лет и их неизменно скверные последствия, я бы сказал, что у меня есть все основания для отчаяния.

— *Чем вы можете объяснить неспособность поддерживать романтические отношения с женщинами? Может, всему виной какая-нибудь привязанность без взаимности, которая имела место в далеком прошлом и от которой вы так и не смогли оправиться?*

— Ну, возможно, я просто ищу себе оправдание, но мне все-таки кажется, что я по-прежнему слишком много времени (если учесть, что все это произошло пять лет назад) провожу в мыслях о Кейт.

— *Когда вы говорите «все это произошло», что конкретно вы имеете в виду?*

— Я имею в виду тот факт, что ничего не произошло. Вот что произошло пять лет назад, и я все еще корю себя за это. В этом кроется еще одна причина, почему меньше всего на свете я хотел сейчас видеть Теда.

— *А какая именно черта Кейт кажется вам особенно привлекательной?*

— Не знаю, как нужно отвечать на этот вопрос. Неодолимые влечения возникают сами по себе, и потом мы не можем от них избавиться: разум тут не работает. Она была красивой и умной, так мне представлялось, но в мире хватает красивых и умных женщин, многие из которых не казались мне привлекательными. Оглядываясь назад, я думаю, что мы просто хорошо подходили друг другу, и меня гнетет мысль, что мне не хватило сообразительности или смелости понять это тогда. Подобно многим, мне нравится смаковать упущенные возможности, сожаления придают моей жизни определенный эстетический аспект, и они очень удобное оправдание для жалости к себе. Я всегда могу сказать: «Если бы я только женился на Кейт» — и притвориться, будто именно в этом корень моих проблем.

— *А разве это само по себе не проблема? Вы упомянули, что у вас были и другие романы. Вы имеете в виду, что в этих романах не было ничего принципиально ненормального, если не считать вашего собственного разрушительного упорства, вашего желания продолжать жить на обломках разбитой романтической страсти?*

— Вовсе нет. Это значит, что ответственность лежала на мне, хотя вина за разрыв всегда и неизменно лежала на женщине. Со времени моего появления в этом университете у меня было три или, может, четыре, или даже пять, или все-таки две женщины, и каждая была виновна в одном и том же преступлении: она не была Кейт. Если бы этот недостаток можно

было бы исправить, то все остальное пошло бы гладко, уверяю вас. А так получался порочный круг, который ни одна женщина не способна разорвать. Возможно, мне следовало завести роман с женщиной.

— Но ведь есть человек, который способен разорвать этот круг, разве нет? Как насчет Апарны?

— Должен признаться, было время, когда я только здесь появился, когда я только с ней познакомился... казалось, мы так хорошо ладили и все шло как по маслу. Верно, тогда я не думал о Кейт, хотя прошло совсем немного времени. Тогда я не то чтобы был счастлив, но я был взволнован, очень взволнован. Мы оба были взволнованы. Теперь уже не вспомнить, когда это ощущение начало угасать. Она была так разочарована, так устала от того, что ее не воспринимают всерьез, а я не смог ей помочь. И сегодня мы еще дальше друг от друга. Что я могу предложить ей? Я заглядываю внутрь себя и вижу пустоту, и я не знаю, как образовалась эта полость, я не знаю, что с ней поделать. Это пугает меня почти до смерти.

— Это называется искать себе оправдания. Вы можете многое ей предложить: вы нужны ей так же, как она нужна вам. Ступайте к ней сейчас, извинитесь за все, что вчера ей наговорили, и все будет в порядке.

— Вы думаете, мне следует так поступить? Вчера у нас и впрямь не было возможности нормально поговорить. Мне хотелось бы знать, что она думает о моем рассказе, моем третьем рассказе, моем любимом рассказе; она умеет заметить что-нибудь интересное. Возможно, мне следует позвонить ей сегодня вечером и спросить, что она думает. Да, так я сейчас и поступлю.

— Прекрасно. Это решение. Дела идут на поправку.

— Но знаете, у меня есть гораздо более неотложное дело — мне срочно нужно в туалет. Я сегодня, наверное, выпил чашек двенадцать чаю. Боюсь, до возвращения домой я просто не дотерплю; это нужно сделать здесь и сейчас, при свете дня. Впрочем, увидеть меня могут только вон те двое, а они, похоже, полностью поглощены игрой. Кроме того, вон густой куст рододендронов, который превосходно подходит для моих целей. Прошу меня извинить. Я быстренько.

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА РОБИНА ГРАНТА

3. Милые бранятся

На железнодорожной ветке между Уоррингтоном и Крю поезд вдруг останавливается.

Поезд стоял почти четверть часа, прежде чем пассажиры начали переговариваться. Тем не менее за эти четверть часа уровень шума в вагонах заметно подался: шарканье ног, плач детей, шуршание пакетов с хрустящим картофелем, сердитое цоканье. И вот наконец разрозненные реплики:

— Типичный случай, не так ли?

— Вот вам и современная техника, до чего-то она нас доведет?

— Я б не возражал, если бы нам сообщили, в чем дело.

— Мы уже опаздываем на тридцать пять минут.

Из этих чахлах семян проклюнулись первые робкие беседы: ничего примечательного, по большей части — истории о наиболее возмутительных случаях опоздания, поведенные пострадавшими от Британских Железных Дорог. Такие истории наверняка припасены у всех.

Но за столиком для четверых в одном из вагонов для некурящих разгоралась дискуссия поинтереснее. По одну сторону сидели два доктора, два известных врача-консультанта, которые возвращались из Шотландии, куда ездили порыбачить на выходные (дело происходило воскресным вечером в конце августа), — красивые, средних лет мужчины вполне добродушного вида. Напротив них сидели два студента, с которыми вам еще предстоит познакомиться. Роберт приехал из Суррея и собирался получить степень магистра в области английского языка и литературы в Бирмингемском университете; Кэтлин приехала из Глазго и писала докторскую диссертацию по биологии в Лестере. На столике лежала вкладка с рецензиями из газеты «Санди таймс», которую читал один из врачей, и взгляд Кэтлин был прикован к первой странице. Заметив это, доктор пододвинул к ней газету и сказал:

— Можете почитать, если хотите. Кэтлин улыбнулась:

— Нет, спасибо. Я никогда не читаю газет.

— Но эту вы, похоже, читали.

— Просто смотрела на фотографию, — сказала она.

Это была еще одна пространная статья о войне — военную историю, как и прежде, припудривают и приправляют специями, чтобы утолить ею весьма причудливый, но, по-видимому, весьма распространенный аппетит, характерный для воскресного утра, — и вверху страницы была помещена фотография фельдмаршала Монтгомери, который стоял перед огромным танком.

— Я просто думаю, — продолжала Кэтлин, — какой у этих штук

непристойно фаллический вид. Иногда мне кажется, что война — это просто такая вещь, придуманная мужчинами, чтобы публично продемонстрировать свою эрекцию.

Лицо у одного из врачей сделалось потрясенным, он заерзал. Другой лишь понимающе улыбнулся:

— Похоже, среди нас либеристка?^[9]

Роберт оторвался от книги, которую на самом деле и не читал.

— Это слово вышло из моды много лет назад.

— Освобождение женщин, феминизм, называйте, как хотите. Юная леди понимает, что я имею в виду.

— И в освобождении женщины, по-моему, нет ничего плохого, — вмешался его коллега, — если, конечно, она остается в определенных рамках.

— Именно! Вы повторяете мои мысли. Вы попали в точку, в самую точку.

Кэтлин изумленно смотрела на них, а Роберт сказал:

— Освобождение в определенных рамках? Какая-то бессмыслица.

Теперь уже на лицах обоих докторов было написано недоумение.

— Я хочу сказать, человека либо можно освободить, либо нельзя, — добавил Роберт.

— Освободить от чего?

— Именно. В смысле, от чего женщины должны освободиться?

— От угнетения, — ответил Роберт.

— Да, но что вы понимаете под угнетением?

— В большинстве случаев так называемое угнетение, — заметил второй врач, — существует только в голове. Все это чепуха.

— Объяснение займет несколько часов, — сказал Роберт. — Или дней. И вообще, почему я должен объяснять? Почему бы не спросить женщину?

Все посмотрели на Кэтлин.

— Да, давайте, нехорошо оставаться в стороне. Нельзя же, чтобы вашу точку зрения защищал только ваш друг.

Кэтлин подалась вперед.

— Мой друг? Мой друг? Боже мой, да я впервые вижу этого человека, я сижу рядом с ним в поезде, и вы делаете вывод, что это мой друг. Эти предположения, которые люди делают... Проклятые предположения!

— Простите, я вовсе не хотел... — смутился доктор. — Я просто подумал... ну, я не знаю, что я подумал.

Кэтлин откинулась на спинку кресла, в ее голосе зазвучала горечь.

— Нет, правда, это очень интересно. Очень показательно. Мы с этим

человеком за всю поездку не обменялись ни словом... кстати, как вас зовут? — она повернулась к Роберту.

— Роберт.

— А меня Кэтлин. Будем знакомы. — Они пожали друг другу руки. — Итак, мы за весь вечер не обменялись ни единым словом, но вы все равно решили, что мы пара. Получается, что, по вашему мнению, пары не разговаривают друг с другом. Очевидно, ваше представление о парах исключает общение внутри пары или желание такого общения. Странно, правда?

— Вы приписываете мне то, чего я не говорил. Предположим, что вы были бы... как бы сказать, вместе или что-то подобное... так вот, нельзя же рассчитывать, что два человека, которые вместе, обязательно станут разговаривать друг с другом. Существует такая вещь, как дружеское молчание. Нельзя же все воспринимать... буквально. В том-то и заключается проблема у вас, феминисток, что вы во всем видите худшее, все доводите до крайности.

— До крайности?

— «Умеренность во всем» — всегда было моим девизом.

— Именно, — подхватил его друг. — Умеренность во всем. Живи по этому правилу, и ты никогда не ошибешься. Это относится ко многим вещам: к работе, игре, даже политике.

Они дружно откинулись на спинки кресел и улыбнулись; и едва они это проделали, как поезд содрогнулся, дернулся и по вагону прошелестел вздох облегчения. Кое-кто из пассажиров саркастически зааплодировал.

— Умеренность во всем? — повторила Кэтлин с таким омерзением, что даже не заметила долгожданного завершения стоянки. — Вы имеете в виду *умеренность* в правде, или справедливости, или правосудии, а может, уверенность в счастье? Вы хотите сказать, что если люди *умеренно* свободны от угрозы голодной смерти, от угрозы пыток или от угрозы смерти от ядерного оружия, то мы должны быть счастливы? Честно говоря, такая точка зрения представляется мне весьма странной. Очень *крайней* точкой зрения, если можно так выразиться.

Роберт с Кэтлин решили выйти в Крю — в надежде, что удастся пересесть на поезд побыстрее, идущий по другому пути. Когда они пили кофе в вокзальном буфете, Роберт сказал:

— Должен признаться, меня просто восхитило, как вы расправились с этими замшелыми консерваторами. По заслугам им досталось.

— А по-моему, они не так плохо возражали. В определенном смысле у них благие намерения. В конце концов, существуют и более опасные виды

глупости.

— Я ведь не очень-то вас поддержал? Я просто, как бы сказать... предоставил вам все сделать самой.

— Поддержка мне и не требовалась, — ответила Кэтлин. — Видите ли, у мужчин есть одна особенность... Возьмем, к примеру, моего парня, он бы уж точно попытался меня поддержать и обязательно все испортил бы. Он бы наверняка ушел от сути вопроса.

— Ваш парень?

— Ну, мой бывший парень. Забавно, но он терпеть не мог, когда я начинала спорить. Он всегда боялся, что я не смогу одержать верх, но я лишь единственный раз и потерпела поражение — когда он выступил на моей стороне. — Кэтлин улыбнулась. — Я не держу на него зла, он действовал из лучших побуждений. — Улыбка исчезла с ее лица. — По крайней мере, мне так кажется. Дело в том, что всегда так трудно понять, о чем он думает. Эта замечательная способность мужчин погружаться в беспричинное сердитое молчание. Я всегда говорила, что проблема Джима в том, что его можно читать, словно книгу, только в этой книге ты увязаешь где-то на пятнадцатой странице и не можешь пробиться дальше.

— То есть вы думаете, что никогда до конца его не понимали?

— В нем было кое-что... некие области, которые я никогда не понимала. Например... — Она с серьезным видом подалась вперед. — Послушайте, вы же мужчина?

Роберт кивнул.

— Вы встречаетесь с женщинами? Он опять кивнул.

— Так вот что мне иногда кажется: мужчины, во всяком случае некоторые, в общем, те, кто хоть чем-то выделяются среди других, они хотят, чтобы их подружки были сильными и независимыми, хорошо ладили с людьми.

были интересными, энергичными и жизнерадостными. Так? Но когда доходит до дела, разве они не возмущаются, когда эти качества действительно начинают проявляться? Разве они не испытывают некоторого смущения и... чувства неполноценности?

— Разве? Да, наверное, так бывает. Но мне кажется, вы клоните к чему-то другому.

— Я уже сказала, что не держу на него зла, — Кэтлин снова улыбнулась, а затем повторила — тише, словно для себя, постукивая по столу указательным пальцем. — Нет, не держу. Совсем не держу. — Она подняла взгляд на Роберта. — Просто я иногда бесилась оттого, что... однажды, и именно это решило все дело... он повел меня к своим друзьям,

мужчине и женщине, и я довольно неплохо поладила с новым знакомым, мы приятно провели вечер. Потом мы вернулись домой, и Джим обвинил меня в том, что я флиртовала, *флиртовала*, ни больше ни меньше, с его лучшим другом. Я ничего не могла понять. Я сказала: «А что случилось, разве ты не хотел, чтобы мы поладили, разве ты не хотел, чтобы мы общались? Я думала, ты повел меня для того, чтобы я с ним подружилась».

— Вероятно, он предвидел, — сухо сказал Роберт, — дружбу в определенных рамках. Мне он кажется сторонником умеренности во всем. — Но, осознав, что такой ответ недостаточен, Роберт добавил: — Из-за этого вы и расстались?

— Тогда наш разговор перерос в мелочную ссору. Знаете, из тех, про которые говорят «милые бранятся — только тешатся». Скудная, унылая ссора, когда стороны больше молчат, чем пререкаются. Под конец он извинился. Точнее, предложил не принимать его всерьез, потому что у него просто тяжелый характер. — Она задумалась, покачала головой. — Удивительное признание...

Роберт сказал:

— А вот если бы вы были друзьями, а не любовниками, этой ссоры не произошло, потому что он бы не считал, будто имеет на вас право. Он бы не считал вас в каком-то смысле своей собственностью.

— Друзья, любовники — какая разница?

— В сексе, я полагаю. Насколько я понимаю, вы спали друг с другом?

— Да.

— Ну вот. В этом-то все и дело. Секс подразумевает обладание. — Роберт допил кофе и разломил пополам пластиковую ложку. — Поверьте, если бы у вас была дружба без секса, то все вышло бы совсем иначе. Совсем иначе.

Эта мысль, конечно, посещала Кэтлин, но ей показалось интересным услышать ее от такого человека, как Роберт, и ее осторожная симпатия к нему возросла. Вскоре подошел поезд, и их разговор перекинулся на другие, менее серьезные темы. Но к Бирмингем-Нью-Стрит, где им предстояло попрощаться, они настолько сблизились, что Роберт счел возможным предложить:

— Послушайте, у меня в Лестере живет друг. Я собираюсь навестить его через выходные. Как насчет того, чтобы я заглянул к вам на чашку чая?

Так он и поступил, только получилось, что большую часть выходных он провел с Кэтлин, а не со своим другом. В воскресенье вечером Кэтлин сказала:

— У меня в Бирмингеме живет тетка, которую я на днях должна

навестить. Но дело в том, что у нее вряд ли найдется для меня место. Нельзя ли мне провести у тебя пару ночей?

Кэтлин приехала и провела с Робертом все выходные в доме, который он делил еще с двумя студентами, и за все время она всего лишь однажды наведлась к тетке (и случилось это за несколько часов до отъезда обратно в Лестер).

Осень — сезон надежд для молодежи и для людей с научным складом ума: начало нового года, более отчетливое и не столь сумасбродное начало по сравнению с тем, что случается посреди зимы. Бирмингем, спокойный город со множеством деревьев (я пишу это для тех, кто никогда там не был), может показаться красивым в это время года, но если только вы застанете его врасплох: бронзовые и серебристые ветки режут безнадежно-голубое небо, а сухая листва шуршит у стен многоэтажных домов и аккуратных двухэтажных домиков. Но это не самое подходящее время и место, чтобы заводить серьезную дружбу с представителем противоположного пола.

Но Роберт и Кэтлин обратили это обстоятельство себе на пользу, и надо отдать им должное, они выжали из него по максимуму. Они проникались друг к другу все большей нежностью. В основе этой нежности лежала вполне рассудочная симпатия, интеллектуальная и духовная совместимость порождала непринужденность и спокойное удовольствие, которое они испытывали в присутствии друг друга. Им нравилось смотреть, как другой что-то делает: заваривает чай, нарезает овощи, переворачивает страницы книги, томно потягивается на диване. Им нравилось смотреть друг на друга во сне. Но в первую очередь их дружбу скрепляло очень редкое чувство, точнее, его отсутствие — в их дружбе не было и намека на чувство вины. Потому ни один из них не считал себя зависимым от другого. Роберта не снедала тревога, если Кэтлин была в плохом настроении, Кэтлин не мучилась эгоистичным раскаянием, если Роберт выглядел несчастным, и так далее. К тревогам и депрессиям другого они относились стойко и с рассудочным сочувствием. И разумеется, секс, эта основная причина чувства вины у несчастных пар, этот крошечный сосуд, из которого, как мы надеемся, должно излиться столь много и такие разнообразные снадобья — привязанность, примирение, торжество, искупление, благодарность, прощение, — не мог в данном случае омрачить их дружбу, потому что его не было, к сексу не прибегали как к маняще простому решению проблем, к которым он не имеет ни малейшего отношения.

— Значит, это твоя новая подруга? — спросил Роберта один из его

соседей как-то воскресным вечером, после того, как наткнулся на них у вокзала.

— Нет, — ответил Роберт, — вовсе нет.

В ту ночь, лежа в постели, Роберт ломал голову над этим вопросом. Ему не нравилось слово «подруга», потому что оно подразумевало претензии на Кэтлин, которых, по его мнению, у него не было. Но и слово «друг» выглядело каким-то ущербным. Перелистывая в уме свой личный словарь, Роберт пришел к выводу, что не существует слова для обозначения человека, к которому испытываешь особую привязанность, не обремененную романтическими оттенками. Он поразился бедности языка. Кроме того, Роберт понял, что есть определенные действия и поступки, которые, будучи сами по себе спонтанными и приятными, отягощены вполне конкретными ассоциациями, за которые, по его убеждению, Кэтлин вряд ли поблагодарила бы его. Например, однажды утром, в день, когда Кэтлин собиралась приехать к нему в Бирмингем, она позвонила сообщить, что заболела гриппом и не приедет. Все побуждения и инстинкты требовали от Роберта незамедлительно послать ей огромный букет цветов с сочувственной запиской. Но что, если она воспримет этот поступок превратно? Что, если другие женщины в ее доме увидят цветы и начнут над ней подшучивать? Одной мысли смутить ее или переступить неоговоренную (а потому размытую) грань, которая отделяла дозволенное от недозволенного, оказалось достаточно, чтобы не делать вообще ничего. Как выяснилось, большую часть дня Кэтлин провела в постели, втайне надеясь, что ей доставят огромный букет цветов с сочувственной запиской, и она была всерьез, пусть и не показав того, обижена мифической невнимательностью Роберта. (Однако она так и не смогла признаться ему в этом из страха переступить все ту же неоговоренную грань.)

Они редко целовались и обнимались — обычно только при встрече и расставании или в знак благодарности при обмене подарками.

Объятия всегда были краткими, хотя оставалось непонятным, кто первым их прервал; поцелуи были всегда в щеку, а не в губы, но оставалось непонятным, кто так решил. Роберт думал про себя: «Я бы не стал целовать ее в щеку, если бы она подставила губы», а Кэтлин думала про себя: «Я бы подставила губы, но он всегда так поспешно целует в щеку». Но тем не менее они дорожили этими мгновениями, несмотря на все свое смущение и робость.

За все то время, что они провели в гостях друг у друга, они ни разу не спали в одной постели. У себя дома Роберт ночевал на диване в гостиной, а Кэтлин спала на его кровати; у себя же дома Кэтлин спала на раскладушке

в столовой, а Роберт спал на ее кровати. Таким образом обоим был обеспечен крепкий ночной сон, а опасность, что тот или другой затеет нечто недоброе, — сведена к нулю. Иногда Роберт, лежа без сна на диване, в три часа ночи ловил себя на мысли, что было бы гораздо приятнее чувствовать рядом тепло Кэтлин, слышать ее тихое дыхание, легонько поглаживать ее руки, когда она спит. А иногда Кэтлин, лежа без сна на раскладушке и наблюдая, как светлеет за окном, ловила себя на мысли, что было бы гораздо приятнее знать, что рядом Роберт и можно мягко прижаться к его телу в первые трепетные минуты сна, или, проснувшись мертвенно тихим поздним воскресным утром, увидеть рядом знакомое лицо. Без всякого сомнения, такие мысли посещали обоих; но это не мешало им в глубине души считать, что они поступают правильно.

Как-то раз, на втором или третьем месяце их дружбы, в одни из выходных из Суррея приехали близкие друзья Роберта. Они недавно поженились и в Бирмингем прибыли, чтобы навестить родственников, живших неподалеку. Они позвали Роберта встретиться в воскресенье вечером и посидеть где-нибудь, и совершенно естественно, что пригласили и Кэтлин. В те дни у Кэтлин была запарка с работой, до среды ей нужно было закончить и набрать на компьютере главу из диссертации, но она понимала, что встреча эта очень важна для Роберта (как и для нее), и ей обязательно надо познакомиться с его ближайшими друзьями, поэтому в субботу вечером она специально приехала из Лестера.

Подобные посиделки зачастую распадаются на два диалога: Роберт обнаружил, что в основном разговаривает с Барбарой, а Кэтлин увлеклась долгой и обстоятельной беседой с его старым школьным другом Николасом. Беседа их текла ровно, они говорили тихо и серьезно, склонившись голова к голове, тогда как Роберт с Барбарой то и дело прерывались в своем разговоре, паузы становились все длиннее, по мере того как общие темы сходили на нет. И вот, чтобы как-то заполнить затянувшееся молчание, Барбара заметила:

— Очевидно, вы с Кэтлин очень близки. Странное утверждение, если учесть, что за весь вечер они с Кэтлин не перебросились и парой слов, но Роберту все равно стало приятно.

— Да, это так.

— Ты давно с ней встречаешься?

— Да мы вовсе не «встречаемся», — объяснил он, улыбнувшись ее наивности. — Мы не спим друг с другом и не делаем многого чего еще, что обычно делают пары.

— Понимаю, — сказала Барбара с некоторым удивлением. — Значит,

вы просто хорошие друзья.

Роберт задумался над этими словами.

— Какое странное выражение, — сказал он. — Какое-то неполноценное, какое-то унижающее. Это короткое слово «просто», оно ужасно. Словно отношения без секса являются более примитивными, более поверхностными. Мы с Кэтлин всегда думали, что как раз наоборот. Если мы видим двух людей, занимающихся каким-то совместным делом, мы всегда спрашиваем: «Как ты думаешь, они хорошие друзья?» — и если эти двое явно не получают удовольствия от общества друг друга, то ответ обычно: «Нет, просто любовники».

Барбара рассмеялась.

— Понимаю. Видишь ли, именно это я и имела в виду, сказав, что вы очень близки. Вы понимаете друг друга. Вы одинаково мыслите.

— Да, полагаю, что так.

После этого разговор вернулся на прежний запинющийся, неприятный уровень, и они обсудили перспективы карьеры Барбары, плохую работу общественного транспорта в Суррее и возможность возведения пристройки к дальней спальне. Но большую часть времени они молчали. Тогда как Кэтлин с Николасом продолжали беседовать с неослабевающей увлеченностью.

Время близилось к полуночи, когда Роберт с Кэтлин узкими улочками возвращались домой. Между ними установилось странное молчание. Пару раз Кэтлин пыталась завести дружеский разговор, но ответом были лишь односложные реплики и сарказм, и тут она испугалась, что так и ляжет спать — не получив объяснений, кроме того, ей хотелось поговорить с Робертом о его друге, задать несколько вопросов. Поэтому она спросила:

— Ты на меня за что-то сердись?

— Нет. Я никогда на тебя не сержусь. Ты же знаешь.

Так оно и было, до сих пор.

— Ты сегодня очень молчалив, только и всего. Просто обычно в такой вечер мы бы сейчас болтали об этой встрече, обсуждали ее.

— Разве?

— Да.

Еще несколько шагов в молчании.

— Если хочешь знать, на этот раз, похоже, говорить не о чем.

— Неужели? — Она остановилась и повернулась к нему. — Ты никогда не рассказывал мне об этом своем друге, ты никогда не рассказывал мне о том, через что он прошел. Парню по-настоящему надо с кем-то поговорить. Что случилось с вами обоими, почему вы никогда не

разговариваете друг с другом?

— Я не так часто его вижу, — жалко ответил Роберт. — Да и вообще, что ты имеешь в виду? Что он тебе рассказал?

— О своей депрессии. Неужели ты с ним об этом не разговаривал? Он проходит курс лечения. Ни с кем ни о чем не делясь, он отпрашивается с работы и... в общем, это началось после смерти в прошлом году его сестры, уж об этом ты должен знать, а затем он словно потерял веру. Он посещает собрания квакеров... Пару месяцев назад он был на грани самоубийства.

— Что, Ник? Не говори ерунды. Он никогда бы не сделал ничего подобного.

— Господи, да он сам мне сказал. Он забрался на самую верхотуру многоэтажного жилого дома на юго-востоке Лондона и чуть не бросился вниз. Ты хочешь сказать, что он тебе не говорил? — Кэтлин недоверчиво покачала головой. — Ох уж эти мужчины. Господи! Вы что, не умеете разговаривать друг с другом? Вы такие зажатые.

Роберт зашагал дальше. Кэтлин тяжело вздохнула, бегом догнала и взяла его под руку.

— Прости, Роберт, я не хотела тебя обидеть. Ты знаешь, я тебя таким не считаю. Ты знаешь, я считаю тебя не таким, как все. — Он замедлил шаг, но почти незаметно. — Прости, что мы мало говорили с тобой сегодня вечером, потому что мне нравится с тобой разговаривать, мне нравится разговаривать с тобой больше, чем с кем-то еще. Просто... Я считаю, что ему было важно, чтобы его кто-то наконец выслушал. Возможно, мне даже удалось немного его развеселить. Ты не считаешь?

— О да, я уверен, что удалось.

— Уверен?

Ее поразила необычная интонация в его голосе.

— Тут любой бы мужчина развеселился, разве нет? — сказал Роберт. — Когда с ним весь вечер флиртует красивая женщина.

Кэтлин остановилась как вкопанная, Роберт продолжал идти. Но через несколько секунд он тоже остановился и повернулся взглянуть, что она делает. Кэтлин присела на низкую ограду палисадника, в янтарном свете уличного фонаря она выглядела бледной и прекрасной. Внезапно она обхватила себя руками, тело ее затряслось, и Роберт в панике бросился к ней, сел рядом и положил руку ей на ногу.

— Дорогая, прости. Любимая, прости, я был... я не знаю, почему я это сказал. Просто у меня сегодня такое настроение. Я не то имел в виду. Просто у меня...

— ...тяжелый характер, — медленно сказали они в унисон.

Роберт отвел взгляд, вспоминая.

На самом деле Кэтлин смеялась — грустным, судорожным смехом. Она все сразу поняла и теперь пыталась увидеть в происходящем смешную сторону.

— Вот черт, — сказала она. — А мы, оказывается, влюбленные. Разве нет? Мы влюбленные, а, как говорится, милые бранятся — только тешатся. Но больше всего меня раздражает то, что мы не занимались теми приятными вещами, которыми положено заниматься влюбленным, до того, как они начнут браниться.

— Так вот что с нами происходит? — прошептал Роберт.

— Ну конечно. — Смех ее стал громче и едче. — Боже, как глупо! Наверное, мы первые влюбленные в мире, которые расстанутся прежде, чем сошлись.

— Расстанутся? Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что это все, Роберт, — ответила Кэтлин, встала и сунула руки в карманы куртки. — Если я не ошибаюсь, это конец.

— Что, ты хочешь сказать, что ты меня бросаешь?

— Да, — кивнула Кэтлин. — Да, думаю, что так.

Голова Роберта едва не кипела от царившей в ней неразберихи. Понадобилось некоторое время, чтобы сформулировать возражение, и когда оно наконец составилось, то прозвучало натянуто и негодуяще:

— Но... ты не можешь меня бросить. Я ведь не твой парень!

Кэтлин уже исчезла из виду, решив, похоже, что это не очень убедительная аргументация, и тишина полуночных улиц стала абсолютной; стих даже отдаленный звук шагов. Роберт предположил, что она направляется к его дому, поэтому он кинулся следом, а не нагнав, бросился бежать и срезал путь. Он посчитал, что к ее приходу надо обязательно разложить диван.

Вторник, 15 июля 1986 г.

Робин еще три месяца не говорил Апарне о том, что с ним случилось. Они виделись раз в неделю, и на какое-то время показалось, будто их отношения изменились. Она была щедра в своем сочувствии, преданна и уступчива. Робину вспоминались, точнее, им обоим вспоминались те дни, когда он только-только появился в университете, дни, когда они с Апарной только-только познакомились и у них завязалась дружба, которая, как он был тогда уверен, будет длиться долго: они разговаривали, спорили и

читали, и они смеялись так, как Робин не смеялся никогда. Хотя он не слышал, как смеется Апарна, много лет, он хорошо помнил ее смех залиvistый, журчащий, постепенно набирающий силу и мощь, звенящий еще долго после шутки и наконец затихающий с булькающим звуком — чтобы перевести дух и набрать воздуха. Ее глаза и зубы сияли, как луна. Она была ослепительна. И так замечательно снова слышать ее шутки, наслаждаться ее неотразимым юмором, хотя Робин прекрасно понимал, что она шутит лишь для того, чтобы отвлечь его от тревог. А еще замечательно, что он может не ежиться от холода своего отчаяния, а греться в ее тепле, в тепле ее доверия, — ибо Апарна, единственная среди всех его друзей, ни разу не усомнилась, что Робин невиновен.

Ее доброта объяснялась не только сочувствием; в ней вдруг пробудился оптимизм по отношению к собственной персоне, хотя Робин уже и не рассчитывал в ней этого увидеть. Апарна снова заинтересовалась своей работой. Выяснилось, что она опять — впервые за год и даже более — стала писать. У нее родилась новая идея, и Апарна считала, что наконец-то нашла доводы, которые наверняка понравятся научному руководителю. И появилась надежда, что она все-таки закончит диссертацию, что ее усилия будут вознаграждены, что она наконец покажет себя корифеям науки, которые упорно продолжали в ней сомневаться. Робин поражался энергии, какую Апарна вкладывала в свою работу. Когда бы он к ней ни зашел, она неизменно трудилась, и по собственной воле Апарна редко прекращала работу до трех-четырех часов ночи.

Однажды днем Апарна дала прочесть Робину написанное; и они поговорили на эту тему — сначала у нее в квартире, затем в ресторанчике неподалеку от центра города. Дискуссия началась более или менее серьезно, при этом Робин выражал подлинный восторг, умеряемый критическими замечаниями по отдельным вопросам, но постепенно спор становился все шутливее. Апарна поддразнивала его по поводу его интеллектуальных предрассудков и даже заставила повспоминать Кембридж ей всегда нравилось слушать рассказы о нелепых людях, с которыми он водил там знакомство. Под конец оба изрядно нагрузились и обессилили от вина и приступов необъяснимого смеха. В итоге Робин провел ночь на полу в гостиной Апарны и, прежде чем заснуть, понял, что умудрился за весь вечер ни единого раза не подумать о предстоящем судебном разбирательстве.

Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что, получив записку от Эммы, он вновь потянулся к Апарне. В записке всего лишь содержалась просьба как можно скорее зайти в адвокатский офис Эммы. Робин тут же

посмешил туда и обнаружил совсем другую Эмму: нервную, бесцеремонную, немногословную. Она изложила ему все выгоды от признания себя виновным, объяснила, насколько серьезным окажется его положение, если он предстанет перед судом, а вердикт будет не в его пользу. На сей раз она ни слова не сказала о своей собственной вере в это дело.

— Вам не обязательно принимать решение прямо сейчас, — завершила Эмма. — Просто поразмыслите.

— Но почему? — спросил Робин. — Почему вы вдруг передумали?

— Я не передумала, — ответила Эмма. — Во всяком случае, дело не в этом...

Она замолчала на полуслове, Робин тоже молчал. Наконец она положила руку ему на плечо и промолвила:

— Робин, у меня есть еще кое-какие дела. Почему бы вам не пойти домой и не обдумать все как следует?

Вернувшись в квартиру, он полчаса слушал по радио классическую музыку, потом прибрал комнату, сложил одежду, собрал носки и грязное нижнее белье в пластиковый пакет; вычистил нижний ящик в гардеробе, где лежали все его рукописи. Он горстями швырял листы в мусорный бак, стоявший за дверью черного хода. Он приготовил себе фасоль на тосте и извел последние три чайных пакетика. Затем отправился пешком на дальний конец города, к многоквартирному дому Апарны.

Она открыла дверь и сказала, даже не посмотрев, кто пришел:

— Здравствуй, Робин.

Он вошел в прихожую, Апарна, так и не взглянув на него, уже направлялась на кухню.

— Полагаю, заскочил попить чаю. Робин последовал за ней.

— Да, было бы неплохо. Хотя это не единственное, что мне нужно.

— Разумеется. Чай и сочувствие. Основная пища англичанина.

Он прислонился к косяку кухонной двери, насторожившись от знакомых интонаций, вдруг вернувшихся к Апарне. И тогда, наполнив чайник, она в первый раз повернулась, чтобы взглянуть на него, и он увидел ее глаза, которые больше не сияли, которые больше не были пытливыми и смеющимися, а напротив — тусклыми, налившимися кровью и красными от слез. И где-то в глубине таился гнев.

— Посижу в комнате, если не возражаешь, — сказал Робин.

Апарна ничего не ответила. Несколько минут спустя она зашла в гостиную с двумя кружками чаю. Чай был приготовлен небрежно — слишком крепкий и слишком много молока, а сами кружки грязноваты.

Апарна поставила их рядом друг с дружкой на низенький журнальный столик и открыла застекленную дверь, которая вела на балкон. Стоял жаркий, душный день, и никакой надежды, что подобным образом можно освежить комнату, не было; если что Апарна в комнату и впустила, так это вопли прогульщиков, резвившихся далеко внизу на игровой площадке, где имелись пара качелей, горка и несколько бетонных колец. Апарна постояла на балконе, глядя на крошечные фигурки, которые разыгрывали свои шумные фантазии о насилии и борьбе с ним. Затем она вошла в комнату и села напротив Робина. Несколько мгновений они молча пили чай.

— Итак, — сказала она наконец, выдавливая слова с нескрываемым усилием, — что привело тебя сюда?

— Ничего. Я пришел повидать тебя.

— Визит вежливости, Робин? Я польщена.

— Если я зашел в неподходящее время, я всегда могу уйти.

— Интересно, ты действительно ушел бы? Ты наверняка бы удивился, если бы я сказала «уходи».

— А сейчас неподходящее время?

— Было бы невежливо сразу выпроводить тебя, потому что ты, вероятно, шел сюда пешком и очень устал. Кроме того, я не против твоего присутствия. Ты занимаешь не так много места. — Внезапно Апарна залпом проглотила остатки густого, бурого чая, с отвращением отставила чашку и решительно сказала: — Я намерена уехать из этой страны, скоро уехать. Пусть она... варится в своем собственном соку.

И по лицу Апарны скользнула горькая, озорная улыбка, и глаза ее на мгновение блеснули.

— Я тоже.

— Ты, Робин? Куда ты можешь поехать?

— Не знаю... А ты куда?

— Домой, разумеется. Обратно домой. Но ведь ты так поступить не можешь, потому что твой дом здесь. Так куда ты можешь уехать?

— Ты мне говорила, что никогда не вернешься домой. Ты говорила мне сотни раз. Не говори, что ты передумала.

Апарна уклонилась от прямого ответа, но сказала:

— Наверное, Англия — замечательное место, для англичан. Здесь столько свободы, столько возможностей, столько интересного, столько разнообразного, столько красивого. Почему меня не подпускают ко всему этому?

— Эти розовые очки, что ты надела сегодня, — отозвался Робин, — где бы мне достать такие же?

— Ты начнешь мне нравиться гораздо больше, Робин, — сказала Апарна, — когда наконец осознаешь свою привилегированность. Когда осознаешь, как чертовски тебе повезло, что ты родился именно здесь и что у тебя есть все эти возможности.

— Если хочешь, можем поменяться местами, — предложил Робин. — И через три недели ты предстанешь перед этим проклятым судом.

— Я тебе искренне сочувствую, Робин, ты знаешь; но суд закончится, и все будет нормально, это же очевидно. У таких, как ты, всегда все нормально. Эти суды предназначены для людей вроде тебя. Для начала ты умно поступил, выбрав в адвокаты женщину, которая равнодушно отнеслась к твоему делу. Она наголову разобьет этого мужика, я просто вижу это.

— Кого ты имеешь в виду под «людьми вроде меня»?

— Я имею в виду умных, образованных, гетеросексуальных англичан из среднего класса. Людей, которые сотни лет идут своим путем и будут продолжать идти до второго пришествия.

Они помолчали; когда же Робин наконец заговорил, казалось, он только что пробудился от сна.

— Если хочешь, можешь рассказать, что случилось.

Апарна вопросительно посмотрела на него, и он уточнил:

— Чем вызвана эта внезапная вспышка антиимпериализма?

— Внезапная?

Робин взял старую газету, лежавшую на столе.

— Кажется, я застал тебя в дурном настроении, — сказал он.

— В дурном настроении, — медленно повторила Апарна. — В таком настроении, Робин, я нахожусь уже два года, а то и больше. Или ты не заметил?

— Знаешь, — ответил Робин, — я сейчас не хочу ввязываться в спор. Разве это не странно? Просто мне кажется, что у меня на него нет сил.

— Тогда почитай газету. Робин положил газету на стол.

— Не говори мне, что ты встречалась с научным руководителем. Ты показала ему все, над чем работала последние шесть месяцев. А он скептически вздернул бровь, погладил тебя по голове и предложил поужинать вместе.

Последовало короткое молчание.

— Эти скоты. Эти скоты не понимают, как много значит для меня эта проклятая степень. Они не желают дать мне возможность закончить работу. Ничто не обрадует их больше, чем новость, что я ближайшим рейсом уматываю к себе в Индию и больше им не придется тратить полчаса на

меня и мою работу. Вот чего они желают.

— Поэтому именно так ты и собираешься поступить?

— Не тебе критиковать меня, Робин. Шесть лет я за это боролась, шесть лет, вычеркнутых из жизни, а я уже далеко не молода. Совсем не молода. Но что бы ни пытались со мной сделать, я по-прежнему вольная птица. Я могу решить продолжать борьбу, и я могу решить уступить. И вполне возможно, что именно так я и решу. — Робин ничего не сказал, поэтому Апарна продолжала: — Как бы то ни было, твой диагноз точен. Я встречалась с доктором Корбеттом и могу сообщить, что он вел себя в своей обычной манере. Уверена, он считает, что был со мной чрезвычайно любезен, более того, обходителен. Словно я приехала сюда из Индии только для того, чтобы меня обхаживал ученый средних лет с выпирающим брюшком. Для начала он заметил, что я «хорошо выгляжу». Имел ли он в виду мою одежду, мое лицо или мою фигуру? Не знаю. Затем мы потрепались на тему «как я живу». И вот что интересно: выяснилось, что он даже не знает, где я жила последние два года. И наконец, просто чтобы заполнить время, мы поболтали о моей работе. Поболтали о той безделице, которой я посвятила одну пятую своей проклятой жизни и которую он заставлял меня начинать заново, и переписывать, и начинать заново, и переписывать, и начинать заново, и так до посинения. И что он смог сказать на этот раз, о моих ста страницах, о моих тридцати тысячах слов, о моих шести месяцах трудов до седьмого пота? Он нашел ее «интересной»; он счел, что в ней есть «потенциал»; но он сказал, что ее надо «привести в порядок»; он решил, что она слишком «эмоциональна» и «агрессивна», и все потому, что я попыталась показать свои чувства к этим писателям, господи, к этим *индийским* писателям, которых кто-то должен спасти от этих проклятых английских критиков с их теориями и с их интеллектуальным империализмом. А затем, да-да, он сказал, что я должна зайти к нему поужинать. При этом в разговоре как-то всплыло, что его жена сейчас в Америке, гостит у своей кузины. — Она покачала головой. — Видишь ли, интеллектуально эти люди действуют очень тонко. Свое презрение, свое снисхождение они никогда не проявляют открыто. Поэтому люди не верят, когда ты говоришь им про их презрение. Но я знаю, что они презирают. Я это чувствую. Со времени своего приезда сюда я пытаюсь протиснуться мимо этого презрения. Может быть, пришло время остановиться. — Голос ее изменился, набрал грусти, но отнюдь не мягкости. — Боже, я скучаю по родителям, Робин. Тебе этого не понять. Шесть лет. Скучаю по ним... *так... сильно*. И тут она спросила: — Ты будешь жалеть, если я уеду?

Робин пожал плечами.

— Наверное.

Апарна улыбнулась своей самой недружелюбной улыбкой.

— Тебе будет не хватать твоей безделушки, да? Твоего местного колорита?

— Ты же понимаешь, что я так не думаю о тебе.

— Кто знает. Мне кажется, вы все одинаковые. Все без исключения. Разве ты не выдал себя в тот день у тебя в квартире, когда я показала тебе книгу? Не стала бы жизнь проще, если бы я делала то, чего люди ждут от меня? Корбетт ждет от меня только одного странности и экзотики: ему бы понравилось, если бы я вошла к нему, одетая в сари, бренча на ситаре. Ему не нужна правда о моей стране, никому из вас не нужна. Он не хочет знать, что в *этом* городе есть собственная азиатская община, и за один день, проведенный среди этих людей, он мог бы узнать об Индии больше, чем я когда-нибудь соберусь ему рассказать. Они решают, кем ты должен быть, а затем *втискивают* и *втискивают* тебя в это клише, пока не становится по-настоящему больно. А это очень больно.

Судя по отсутствующему выражению на лице Робина, было вовсе не очевидно, что он слышал последние слова.

— Ты не против, если мы сменим тему? Я пришел кое о чем поговорить, и у меня не так много времени.

Апарна резко вскинула удивленный взгляд. В ее глазах мелькнула боль, словно их пронзили чем-то острым, но через секунду боль исчезла.

— Мы можем поговорить о чем угодно, лишь бы тебе было интересно. Только не позволяй мне вставать на пути твоего плотного графика.

— Я пришел спросить, можно ли мне забрать свой рассказ. Я пытаюсь собрать все экземпляры моих работ.

— Разумеется. Сейчас принесу.

Она исчезла в спальне и почти тут же вернулась с блокнотом Робина.

— Что ты об этом думаешь? — спросил он.

— Мне понравилось. Мне вообще нравятся твои забавные рассказы.

— Что ты хочешь сказать? Апарна села и вздохнула.

— Насколько тебе важно, чтобы я ответила честно? Что тебе сегодня больше по душе — сладкая Апарна или кислая Апарна? Тебе ее подать теплой или холодной? Что ты выберешь из меню, Робин?

— Сегодня, — сказал он, — мне очень важно, чтобы ты была честной. — И тут же поправился: — Хотя на самом деле все это не имеет значения. Ведь я никогда не узнаю, действительно ли ты честна со мной. Поэтому можешь говорить что угодно. Говори что угодно.

— Говорить что угодно? В этом случае у меня широкий выбор. Надеюсь, ты имеешь в виду именно это. — Слова прозвучали почти шутливо по сравнению со следующей репликой: — Забавный ты человек, Робин. Станный человек.

— Почему ты так говоришь? — холодно спросил он.

— Ну, потому что ты постоянно создаешь себе трудности. Постоянно пытаешься сделать вид, что жизнь труднее, чем на самом деле.

— Ты считаешь, что мне все давалось довольно легко, так?

— Это ясно всем. Всем, кроме тебя.

— И вообще, при чем тут мой рассказ?

— Очень даже при чем. В смысле, любовь совсем не обязана быть такой, разве не так? Ты знаешь, что не обязана. Эти двое — как можно испытывать к ним сочувствие? Им следует просто принять то или иное решение, а затем действовать в соответствии с ним.

— Мне такой подход не кажется простым.

— Конечно, тебе не кажется. Теперь, наверное, начнешь рассказывать, что с тобой однажды было то же самое.

— Да, было.

— Бедная девушка.

— Кто?

— Та, с которой у тебя были вот такие отношения. Она тебя бросила?

— Да, так уж вышло.

— Вот и хорошо.

Последовала решающая пауза, после чего Робин заерзал на стуле и сказал с некоторым раздражением:

— Я хотел узнать твое мнение о литературных достоинствах рассказа.

— Именно его я только что высказала. Я не могу отделить «литературные» достоинства от *содержания* рассказа. Почему, ты думаешь, все эти ученые так меня здесь ненавидят?

— Ты нашла рассказ занимательным? Его ироничность заставила тебя улыбнуться?

— Честно говоря, нет. То, что люди в литературе называют иронией, в реальной жизни называется болью, непониманием, несчастьем. В мире и так слишком мало любви, чтобы я сочла забавными двух людей, которые не способны поведать друг другу о своих чувствах. То же самое можно сказать про жуткую историю о везучем человеке. Он настолько глуп, настолько ничего не понимает в жизни, что ты все время ждешь, что рассказчик как-то прокомментирует его глупость, или накажет его, или сделает что-нибудь еще.

— Многие люди нашли этот рассказ смешным. Ты за эти годы просто утратила чувство юмора.

— Но ведь нельзя смеяться в одиночку, Робин. Никто не смеется в одиночку.

Я бы смеялась, если бы мне было с кем смеяться.

— Ты помнишь, — спросил Робин, и голос его стал тихим от напряжения, — как ты прежде смеялась вместе со мной?

— Прежде я смеялась со многими людьми. Возможно, и с тобой тоже. — Не обратив внимания на то, какое действие оказали ее слова на Робина, она поспешно продолжала: — Эти люди, которые нашли твой рассказ смешным, они ведь мужчины?

— Да, в основном мужчины.

— Я так и думала. Видишь ли, мужчинам нравится ирония, потому что она имеет прямое отношение к превосходству, к чувству власти, ко всем тем вещам, которые у них есть от рождения. Женский смех и мужской смех не похожи друг на друга. Не думаю, что ты вообще можешь понять смех женщин: он всегда связан с освобождением, с избавлением от неволи. Даже сам характер смеха иной, женский смех мало напоминает тот лай, который раздается, когда мужчины хохочут в компании.

— Так ты считаешь, что я никогда не смогу написать ничего такого, что рассмешило бы женщину?

— Я считаю лишь, что тебе не стоит удивляться, если люди не пляшут под твою дудку.

За этой репликой последовала еще одна пауза, которую Робин, судя по его виду, не собирался прерывать.

— Итак, — продолжила Апарна, — ты считаешь, что ты несчастен в любви, да?

— За последние годы я несколько раз портил добрые отношения с женщинами, если ты это имеешь в виду.

— Значит, они были не такими уж добрыми.

— Мне лучше судить, разве нет?

— Нет, совсем нет, мне кажется, что ты совершенно не понимаешь сути дружбы. Мужчины ее, как правило, не понимают. Как только у них складываются с женщиной *по-настоящему* дружеские чувства, они сразу теряют над ними власть и переводят их в романтическую плоскость. И тогда все распадается.

— Похоже, у тебя сегодня на все есть ответ.

— Кто-то же должен сказать тебе правду, объяснить все это, раз уж ты появился сюда, похожий на ходячий вопросительный знак Ты пишешь все

эти рассказы, которые по сути являются плохо замаскированными вопросами, мольбой о ясности. Кто-то же должен потянуть за ниточку, чтобы расплести этот спутанный клубок. Мой тебе совет — *учись*. Научись тратить больше времени на людей, научись любить многих людей, любить их по-разному. Любить кого-то означает помогать, но это не означает, что ты должен... вываливать на человека свои избыточные эмоции. Твоя любовь — это потакание собственным прихотям. Отучись от такого, Робин, пока не поздно. — Убежденным Робин явно не выглядел, и тогда Апарна сердито добавила: — И ты точно ни к чему не придешь, если заведешь флирт с гомосексуальностью. Это жалкий путь, этим ты как бы обходишь на цыпочках суть проблемы, замороженный ею, словно незванный гость, подглядывающий в окно, за которым проходит вечеринка. Да? А теперь давай, Робин, или ты стучишься в дверь иходишь, либо уходишь от нее навсегда. К чему эта одержимость, к чему вуайеризм? Прими решение, хотя бы раз в жизни. Но на самом деле это не твой путь, да? Тебя научили играть с вопросами, а не отвечать на них. Блестящее английское образование, как же хорошо оно постаралось оградить тебя от мира. — Апарна картинно вздохнула и заключила: — Я бы все отдала за английское образование.

— Так что же мне делать? — спросил Робин невыразительным, механическим голосом. — Я должен следовать твоему примеру? Никого не видеть, никого не любить, ничего не чувствовать. Жить все время в одиночестве, гневно глядя на мир с пятнадцатого этажа.

— Я бы не стала жалеть о том, как я провела последние два года, — сказала Апарна, — если бы мне удалось завершить работу. Если бы мне позволили завершить работу. Все остальное не имеет значения. Видишь ли, мне больше не нужны друзья, а вот тебе, как мне кажется, нужны. Холодные, рассудочные друзья, к которым тебя так влечет. Ты никогда не замечал, что все твои друзья терпеть меня не могут? Как неожиданно все эти блестящие споры, импровизированные остроумия иссякали, как только я садилась за стол и смотрела на всех с комичной прилежностью? Бьюсь об заклад, им достаточно было услышать мое имя, и их начинало корежить. Ты когда-нибудь говорил с ними обо мне? Или тема *людей* представляется тебе несколько приземленной для тех возвышенных бесед, что ты сейчас ведешь?

— Почему ты продолжаешь со мной общаться, Апарна? — спросил Робин. — Я в недоумении. Я заинтригован. Прежде чем я уйду, я действительно хочу узнать, почему ты продолжаешь со мной общаться.

— Ты мне нравишься, — ответила она. Робин рассмеялся, коротко и тихо. — И однажды мы могли помочь друг другу.

— Однажды?

— В тот раз... когда же это было... этим летом. Ты все мне обещал, что мы отправимся вдвоем в Озерный край. Что у тебя есть друг, который недавно купил там домик, и что мы туда поедem на неделю-другую. Ты собирался ему позвонить и спросить, можно ли там пожить. Ты все рассказывал о краях, которые видел в детстве, и о том, как ты хочешь туда вернуться, и я тогда подумала, что неделя в каком-нибудь таком месте... это может быть совсем неплохо. Ты тогда много рассказывал о своих родных. Теперь же ты никогда о них не говоришь.

— У меня те места ассоциируются... с потребностью завести семью. Смешно, не правда ли? Больше они ничего для меня не значат. Все это теперь так далеко. Думаю, там сейчас многое изменилось. Я не был там целую вечность. Было бы приятно вернуться назад.

— Зачем? Что бы это дало?

— Не знаю. Ты бы в тот раз поехала со мной?

— Конечно, поехала бы. Мы бы стояли у озера на закате и держались за руки. Это было бы очень романтично.

— Возможно, мне следует повидать родителей... поехать и повидаться с ними. Как ты считаешь?

— Возможно, мы оба разочаровавшиеся романтики, Робин, и эта поездка стала бы началом страстного романа, который был бы для нас обоих или спасением, или смертью. Возможно, ты так бы мной увлекся, что забыл бы все. Даже загадочную К

— «К»? О чем ты?

— О влюбленных, о которых ты пишешь. Их имена всегда начинаются на «Р» и «К». Когда ты расскажешь мне о ней, Робин? Когда ты выразишь все начистоту?

Робин не ответил, и Апарна вернулась к интонации злобных воспоминаний.

— А, какая разница. Обещания, обещания, всегда обещания. Ты так и не позвонил своему другу. Мы так и не совершили это сентиментальное путешествие, вторым классом. Ты опять играл с идеей. Я не утверждаю, что ты это сознавал, я не утверждаю, что ты этого хотел, но ты несерьезно относился ко мне. Не совсем серьезно. Когда ты станешь относиться серьезно хотя бы к чему-нибудь. Робин? Жизнь для тебя — это просто мрачная ирония, и от этой мысли тебе легче жить, да?

— Я отношусь серьезно к своему творчеству.

— Разве? Наверное, есть несколько серьезных мыслей, которые ты старательно вставляешь в свои литературные опусы. Например,

самоубийство.

— Самоубийство?

— Да. В твоих рассказах всегда упоминается самоубийство. И зачастую совершенно беспричинно. Вот, например, бедная семья в твоём первом рассказе или депрессивный друг в этом. Причем эта линия не получает никакого продолжения. Ты играешь с этой мыслью, как и со всем остальным. Возможно, ты просто хочешь доказать...

— Послушай, Апарна, может, я все-таки скажу, зачем я сюда пришел? Я сегодня разговаривал с Эммой. Это мой адвокат. Она больше не хочет защищать меня, если я не признаю себя виновным. Она считает, что я это сделал.

Апарна опустила взгляд; и теперь ее голос был сама нежность, сама мягкость.

— Прости, Робин. Я понятия не имела, ты ведь знаешь, что не имела. Почему ты не сказал мне раньше? Я не знаю, что сказать...

Робин охрип от свалившегося на него несчастья; он едва мог говорить.

— Можно мне еще чашку чая?

— Да, конечно.

Апарна взяла кружки и ушла на кухню. Она наполняла чайник, доставала чайные пакетики, наливала молоко и беспрестанно кусала губы, подыскивая слова ободрения, слова утешения. Возможно, она попросит Робина остаться на вечер, приготовит ему ужин, выдернет себя из этого мстительного настроения. Она заторопилась с чаем и направилась в гостиную. Сейчас она сядет с ним рядом на диване и...

Робин исчез. А вместо детского смеха и криков снизу, с игровой площадки доносились взволнованные взрослые голоса. Не зная, не догадываясь, даже не опасаясь, она вышла на балкон и глянула вниз. Вокруг тела уже собралась довольно приличная толпа.

Часть четвертая

Невезучий человек

Пятница, 19 декабря 1986 г.

До Хью наконец начало доходить, что он никогда не найдет работу в научной сфере. Это понимание, как и зимняя непогода, подступало медленно, и он научился справляться и с тем и с другим, а именно — как можно дольше валялся в постели, распалив газовый камин на полную силу. Половину времени Хью дремал, а другую половину лежал без сна, тараща глаза в потолок и рассеянно возложив руку на гениталии. Приняв такую позу, он, чтобы не думать о будущем, думал о прошлом. Прокручивал в голове эпизоды из жизни, которые вызывали у него наибольшую гордость, и сравнивал их с нынешним своим состоянием душного бездействия. Церемония по случаю окончания университета, шестимесячная поездка по Италии и греческим островам, вспышка интеллектуального возбуждения, когда он завершил магистерскую диссертацию; первая сексуальная победа, вторая сексуальная победа, последняя сексуальная победа; публикация его примечания к строке 25 «Литтл-Гиддинг»^[10] в номере за 1976 год журнала «Примечания и вопросы», церемония по случаю присуждения ему докторской степени.

Но в первую очередь его разум терзало знание, что события эти произошли очень давно. Все они случились в течение восьми лет, а с тех пор минуло почти столько же, и за этот срок он не смог припомнить ничего. Ни единого светлого пятна. Помимо прочего, это означало, что у Хью сформировалось очень необычное чувство времени: он *понимал*, что со дня, когда он получил докторскую степень, прошло восемь лет, но поскольку эти годы не были отмечены ни единой вехой, он не мог отличить их друг от друга или хотя бы оценить их все вместе. День триумфа в кафедральном соборе Ковентри казался ни близким ни далеким; если он чем-то и казался, то днем из совсем другой эпохи. Теперь его жизнь вмещала иные реалии: шипение газового камина и теплую духоту комнаты; жесткость паховых волос, когда он накручивал их на указательный палец; запах (который он давно перестал воспринимать) нестиранных носков и трусов, заброшенных под кровать; и ежедневный ритуал, заключающийся в том, чтобы где-нибудь в 14.30 заставить себя вылезти из постели, из

квартиры, сесть в автобус и добраться до студгородка в поисках какой-нибудь компании.

В три часа Хью шагнул под дождем к автобусной станции в Пул-Мидоу. Дул ледяной ветер, он слышал, как издалека, со стороны торгового центра, доносятся рождественские песенки. Они напомнили Хью, что скоро придется ехать домой, навещать родных, выбирать открытки и подарки, и он нахмурился. Станут задавать обычные вопросы: «Когда ты найдешь себе работу?», «Ты с кем-нибудь сейчас встречаешься?» — и он вынужден будет сносить тонкие шуточки младшего брата, который торгует сантехникой компании из Абердина и зарабатывает за месяц больше денег, чем Хью заработает за всю жизнь. Но там будет приличная еда, а когда ему все надоест, то он поднимется к себе в спальню и закурит. Но прежде все же надо позвонить родителям и уломать их выслать денег на железнодорожный билет.

В автобусе было всего три пассажира, Хью забрался наверх и сидел там всю дорогу один. На остановках он смотрел в окно, искал знакомые лица — друзей, преподавателей, студентов, кого-нибудь, кто не уехал с началом каникул, — но никого не увидел; возможно, из-за погоды решили не выходить из дома. В кафетерии он тоже оказался один. В каникулы вторая половина пятницы всегда была очень вялой, но сегодня уровень вялости был таким, что обеспокоил даже Хью, который вообще-то привык к пустым кафе и безлюдным барам. Он иногда болтал с женщиной за стойкой, но на этот раз она была не в настроении; буфетчица читала журнал, да и все равно Хью не знал, что сказать. Поэтому он сидел, растянув чашку с горячим шоколадом почти на полчаса, пока наконец не объявился еще один посетитель: доктор Корбетт, недавно назначенный старшим преподавателем кафедры английского языка и литературы. Как и большинство преподавателей, он был на дружеской ноге с Хью, поэтому сел рядом. Корбетт носил бороду и кожанку, он взял себе кофе и кусок шоколадного торта. Невнятным бормотанием они поприветствовали друг друга, после чего Корбетт принялся есть торт, а Хью не смог найти ничего более оригинального, чем:

— Сегодня тихо, не так ли?

— Так ведь скоро Рождество, — сказал прославленный автор книги «Разумное сердце: мысли и чувства в романе восемнадцатого века».

— Работал сегодня? — спросил Хью. — Новая книга или что-то еще?

— Сопровождение экзаменаторов, — пробормотал Корбетт с набитым ртом. — Надо было составить вопросы к экзаменационным билетам на следующий семестр по курсу поэзии.

— Это разве сегодня? — с недоверием сказал Хью. — А Дэвис там был?

Корбетт кивнул.

— Он же обещал предупредить меня о совещании, — вздохнул Хью. — Сказал, что я тоже могу присутствовать и вносить предложения. Я придумал вопрос. Я разработал этот вопрос от начала до конца. А оказывается, это было сегодня! Почему мне никто не сказал?

— Все равно ты не смог бы присутствовать, — ответил Корбетт. — Совещание только для преподавательского состава.

— Тогда кто придумал вопрос по Элиоту?

— Дэвис.

— Дэвис. Да ведь Дэвис ни хрена не смыслит в Элиоте. Он ни хрена не знает об Элиоте. И что за вопрос он придумал?

— Не знаю. Что-то по поводу «Бесплодной земли».

— Опять «Бесплодная земля». Потому-то я и хотел прийти. Я придумал блестящий вопрос. По поводу «Литтл-Гиддинг».

Корбетт улыбнулся:

— Твой конек.

— Именно. Ты ведь знаешь Малькольма Киркби?

— Ну, я слышал о нем.

— Который написал книгу о «Четырех квартетах»?

— Да.

— А ты знаешь, что он сказал обо мне? В этой книге.

— Нет.

— Так вот, в «Примечаниях и вопросах» поместили мою заметку.

— Правда?

— К двадцать пятой строке «Литтл-Гиддинг».

— Примечание или вопрос?

— Примечание. Так ты знаешь, что он сказал по этому поводу в своей книге?

— Что?

— Он сказал, что отныне больше нельзя воспринимать эту строку как прежде. После моего примечания. По его словам, оно перевернуло представление об этом произведении.

— Неплохой комплимент.

— Поэтому я знаю, о чем говорю. Уж поверь, я даже посреди ночи придумаю вопрос лучше Дэвиса.

— Если хочешь знать мое мнение, этот старый пень практически исчерпал себя. Еще год-другой, и он отправится на пенсию.

В половине случаев он даже не помнит, о чем должен говорить. Студенты постоянно жалуются.

— Тогда почему он все еще преподает? Почему бы не влить в кафедру свежую кровь? Знаешь, вы рубите сук, на котором сидите, потому что лет через десять у вас там наступит полный маразм.

— У нас нет денег. Сокращение штатов, экономия — мы все затягиваем пояса. — Корбетт вытер рот и добавил: — Нет смысла негодовать по этому поводу. В университетах, как и в промышленности, долгие годы были раздуты штаты.

— Ты-то можешь говорить такое.

— Это не злорадство, Хью. Это реализм, — ответил выдающийся редактор книги «Люди и горы: очерки о политических пристрастиях людей искусства». — Я имею в виду что знаю о проблемах, с которыми сталкиваются в наши дни люди вроде тебя. Но в этом можно найти и светлую сторону.

— Светлую сторону? Это какую же?

— Ты, по крайней мере, преодолел первый рубеж Ты, по крайней мере, защитил диссертацию. Многим даже этого не удастся: им не хватает упорства. Например... ты когда-нибудь слышал об Апарне, подруге Роберта? Апарна Индрани.

— Да, видел ее несколько раз. А что?

— Ты знаешь, что она уехала?

— Уехала? Когда?

— Пару месяцев назад. Она ни словом не обмолвилась об этом ни мне, ни кому-нибудь еще на кафедре, а ведь я, черт возьми, считался ее научным руководителем. Просто собрала чемоданы и уехала. Оставшиеся вещи сдала в камеру хранения, и никто не знает, когда она приедет за ними. И ни слова о том, чтобы дописать диссертацию. Просто бросила папку в мой ящик для корреспонденции, ни записки, ничего. Представляешь, даже не забрала свою работу с собой.

— И что все это значит?

— Говорю же, не хватило упорства. Она мусолила диссертацию почти шесть лет, и уверяю тебя, я был с ней очень терпелив. И вот на тебе.

— Невероятно.

— Она просто не смогла... собрать материал воедино, — сказал автор расхваленной брошюры «Психология женского творчества», недавно вышедшей в серии «Исследования по современной эстетике». — Наверное, слишком увязла в личных проблемах.

Несколько мгновений они размышляли над этим диагнозом.

— Должен сказать, она никогда мне особенно не нравилась, — заговорил наконец Хью. — Чересчур колючая. Вечно задирается, если ты сказал что-нибудь не то. Наверное, следовало ожидать, что с таким вспыльчивым характером она долго не продержится.

В кафе забрел одинокий студент, медленно и скорбно огляделся и ушел. Хью отправился к стойке заказать два кофе, но буфетчица куда-то подевалась, а его крик «эй» в сторону кухни отклика не получил.

— Наверное, появится через минуту, — сказал Хью, возвращаясь к столику. Он все еще думал об Апарне. — Возможно, ее расстроила история с Робинотом.

— Может быть. Я слышал... то есть, скорее всего, это лишь слухи... но я слышал, что у них был своего рода роман.

— Думаю, так и было. Под конец они часто виделись. Но точно сказать не могу, потому что Робин никогда не посвящал меня в такие дела. Не знаю почему — в конце концов, я был его другом. Но он умел вести себя сдержанно, когда хотел. Наверное, он тоже был из тех людей, которым не хватает упорства. Только его случай клинический.

— Да уж, поди разбери, что творится в головах у таких типов.

— Полагаю, причина была в том, что он разочаровался в своей работе, — сказал Хью. — Диссертация буксовала. Даже я это видел.

— Для начала, этот тип был явно не в себе, — сказал Корбетт, чей курс лекций о взаимоотношении безумия и интеллектуальных достижений стал одним из самых ярких событий осеннего семестра. — Поэтому не стоит искать логичных объяснений. А что касается его работы, то, по моему разумению, когда имеешь в качестве научного руководителя такого человека, как Дэвис, свихнуться не так уж и сложно.

— Как я понимаю, он не самый активный научный шеф. Они встречались где-то раз в год или где-то около того.

— Дэвис не в форме. Его время прошло. Чем скорее мы уговорим его оставить кафедру, тем лучше будет для всех.

Тут в кафе появился профессор Дэвис собственной персоной, зажав под мышкой дряхлый портфельчик, он протер очки грязным носовым платком. Заметив Хью и доктора Корбетта, профессор, чуть помешкав, подошел к ним. Корбетт принес ему стул, а Хью настоял на том, чтобы угостить его кофе и миндальным печеньем. Последовала длительная пауза, в течение которой профессор Дэвис сосредоточенно содрал крышку с пластиковой упаковки со сливками, размешал в кофе сахар, съел половину миндального печенья и высморкался. Затем, приняв задумчивый вид, он заметил:

— Очень мокро сегодня.

Хью кивнул, предупредительно демонстрируя согласие.

— На улице, — добавил Дэвис, чтобы снять двусмысленность.

— Совершенно верно.

— В такой день, — сказал Дэвис, тщательно взвешивая слова, — нужно брать зонтик.

— Или ветровку, — поддержал его Корбетт. — Ветровку с капюшоном.

— Именно.

Профессор Дэвис пригубил кофе и решил положить еще один кусочек сахара.

— Все-таки, — сказал Хью, — уже почти Рождество.

— Верно, — сказал профессор Дэвис. Совершенно верно. Конец еще одного года. Время летит.

— Кажется, этот год прошел очень быстро, — сказал Корбетт.

— Мне кажется, он прошел медленно, — сказал Хью.

— Все относительно, — сказал Дэвис, — в конечном счете. Год кажется долгим, если в течение него произошло много событий. Я бы заметил, что произошло очень много событий. За последний год.

— В глобальном смысле или в местном? — уточнил Хью.

— В обоих, — ответил Дэвис. — В этот год был Вестланд. Была Ливия. Был Чернобыль. И была эта неприятная протечка крыши в столовой преподавательского клуба.

— А еще был Робин, — напомнил доктор Корбетт.

— Точно. Был Робин. Последовало почтительное молчание.

— Мы с Хью думали, — заговорил Корбетт, — не с работой ли была связана основная проблема Робина. Кроме вас, кто-нибудь видел результаты его работы? Они имели какую-либо ценность?

— О чем она была, диссертация Робина?

— Ну — сказал профессор Дэвис, — она охватывала широкий круг литературных тем, рассматривая их с разнообразных точек зрения.

— Как вы считаете, его подход был... теоретическим?

— Да, его можно было назвать теоретическим.

— Вы бы назвали его методологию... марксистской?

— В ней, несомненно, имелись элементы марксизма.

— Как противопоставление формализму?

— Надо сказать, что он питал очевидную склонность к формализму.

— В своих исследованиях он ограничивался конкретным писателем или конкретным периодом?

— Возможно, так оно и произошло бы с течением времени. Видите ли, его работа так и не приняла определенную форму. Он испытывал трудности с переносом мыслей на бумагу.

— Вы когда-нибудь читали его рассказы? — спросил Хью, и оба преподавателя удивленно посмотрели на него.

— Он писал рассказы?

— Да. У него были иллюзии, что он может стать писателем. Он не часто об этом говорил, но однажды ночью, когда мы оба напились у него дома, он показал мне свои рассказы. Я их все прочитал.

— А что это за рассказы?

— Рассказы как рассказы.

— А они говорят что-нибудь о нем самом? Они помогли тебе понять его?

Хью задумался.

— Честно говоря, нет.

— О чем они?

— Видите ли, я все равно не вижу смысла в попытке понять эти вещи, — сказал Хью. — Я имею в виду, какой смысл? Ведь от этого ничего не изменится. Именно это я все время говорю Эмме: «Послушай, даже если ты поймешь, почему он так поступил, это все равно ничего не изменит. Тогда зачем?»

— Кто такая Эмма? — заинтересовался Корбетт.

— Она была его адвокатом.

— Вы по-прежнему с ней общаетесь? — удивился Дэвис. — Я думал, она уехала из Ковентри несколько месяцев назад.

— Она вернулась. Не знаю, работает ли она здесь и чем вообще занимается. Но она все время мне звонит и расспрашивает про Робина. Думаю, ее гложет что-то вроде чувства вины. Похоже, она хочет разворошить все вновь.

— Недавно в вечерней газете было интервью с отцом мальчика, — сказал Дэвис. — Судя по всему, родственники Робина пишут этому человеку письма, обвиняя его в случившемся. Мне кажется, что это безосновательно.

— Здесь опять то же самое, — сказал Хью. — Нет смысла пытаться выяснить истину. Дело не в том, совершил Робин этот поступок или нет. Все дело в том, что он мог бы его совершить. Он был на него способен.

— Что вы имеете в виду — способен?

— Ну, у него были довольно странные представления о сексе. Это ясно хотя бы из его рассказов.

— Странные представления? — спросил доктор Корбетт, подаваясь вперед.

— Просто... мужчины и женщины... которые встречаются. Мне кажется, такое положение вещей он считал не очень правильным.

— Как необычно, — сказал профессор Дэвис.

— У него были романы, — продолжал Хью, — но они никогда не длились долго. Не знаю, что он делал с этими женщинами, но... вас это удивляет?

Профессор Дэвис и доктор Корбетт удивлялись, молча и синхронно. Затем Корбетт спросил:

— А эта Эмма, она часто тебе звонит?

— Да. На прошлой неделе три-четыре раза.

— Интересно — зачем.

— Я же говорю, Робин стал ее навязчивой идеей. Несколько недель назад я наткнулся на его писанину, он давал мне почитать, и теперь она заявляет, что тоже хочет прочесть.

— А что это?

— Копия его последнего рассказа. По-видимому, последнее из того, что он написал, — все остальное он выкинул, но эти четыре рассказа он записал в отдельных блокнотах. Один из них все еще у Эммы — второй, по моему, — а у меня четвертый. Короткий рассказ с несколькими замечаниями в конце. Я ей все повторяю, что там нет ничего интересного. Но она все равно хочет встретиться со мной.

— Что, у тебя дома?

— Да, завтра вечером.

Профессор и доктор обменялись многозначительными взглядами.

— Она ушла от мужа? — спросил Дэвис.

— Точно.

— Ты давно ее знаешь? — спросил Корбетт.

— Довольно давно, около четырех лет. А что? На что ты намекаешь?

Но доктор Корбетт лишь посмотрел на часы и встал.

— Мне пора, — сказал он. — Джойс уже затеяла обед. Уверен, что в следующем семестре увижу вас обоих. Счастливого Рождества, Леонард. — Он положил руку Хью на плечо. — Желаю, чтобы тебе завтра сопутствовала удача. Попытайся сделать так, чтобы Новый год стал для тебя счастливым.

Он ушел, и Хью проводил его недоуменным взглядом.

— Он что-то странное сказал.

— Норман мыслит шаблонами, — объяснил профессор Дэвис. —

Полагаю, он решил, что раз вы завтра принимаете у себя дома молодую, привлекательную, свободную даму, то это может означать только одно.

Хью покачал головой:

— Он ошибается.

— Вы хотите сказать, что она непривлекательна? — уточнил Дэвис и попытался отхлебнуть кофе из пустой чашки.

— Вовсе нет. Она очень привлекательна. Но все равно...

Дэвис усмехнулся, поставил чашку и встал. Он взял портфель и стряхнул крошки с вельветового пиджака.

— Слушайте, Хью, — сказал он, — вы же не хотите всю жизнь оставаться один? В однокомнатной квартире. Раскрепоститесь. Это же Рождество.

Хью не отвечал и, лишь когда Дэвис направился к двери, крикнул вслед:

— Вы не расскажете мне о сегодняшнем собрании?

Но слух у профессора был не тот, что прежде.

* * *

По пути домой Хью вновь вымок и к тому времени, когда оказался у себя в комнате, сильно дрожал. Метеопрогноз сулил, что ночью дождь сменится градом и снегом. В тот вечер Хью пролежал в ванне больше часа, пока вода совсем не остыла. Он строил планы, как встретит Эмму. Он приготовит изысканное угощение, быть может, что-нибудь мексиканское, и он тщательно приберется в комнате, на все утро распахнет окно, чтобы проветрилось хорошенько, а сам тем временем посетит прачечную самообслуживания и супермаркет. Как же приятно вновь строить планы. Теперь, когда у него было время поразмыслить, слова Корбетта казались не такими уж глупыми: Эмма действительно часто звонила ему в последнее время, и разве она не приложила серьезных усилий, чтобы летом прийти на его день рождения? Возможно, она, подобно ему, просто одинока и перед Рождеством ей требуется немного плотской любви.

После ванны Хью тут же лег спать, но, как всегда, обнаружил, что не может заснуть. В его голове проносились обычные унылые фантазии, а также искаженные обрывки дневного разговора и кое-какие мысли о том, что он скажет завтра. В какой-то момент он осознал, что не помнит, где находится рассказ Робина. В панике Хью включил ночник, встал и, голый,

принялся искать маленький красный блокнот; когда же он его все-таки нашел, то поймал себя на том, что чувствует удивительную бодрость, и решил перечитать рассказа. Тот был не очень длинным.

Пока Хью читал, в комнате стояла полная тишина, которую он хорошо знал. Такая мертвенная тишина бывает только в предрассветные часы, когда лежишь один в постели с включенным светом; и ничто не позволяет слышать эту тишину более остро, чем знание, что за окном в ночи падает снег.

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА РОБИНА ГРАНТА

4. Невезучий человек

В гостиничном кафе провинциального курортного городка струнный квартет играет печальное танго.

За столиком у окна сидел одинокий человек. Он то слушал музыку, то поглядывал на улицу, то с беспокойством всматривался в лица других посетителей. Но большую часть времени он безучастно смотрел прямо перед собой. Он выглядел очень подавленным. Человек был агентом по торговле недвижимостью (вы можете подумать, что это вполне достаточная причина для подавленности, но, как выяснится чуть позже, дело не только в его профессии), и в этот день ему следовало бы находиться на работе, но у человека вдруг иссякли всякие жизненные силы. Рушились основы его существования. Это кафе было последним рубежом, последней отчаянной попыткой обрести хоть какой-нибудь контроль над ходом вещей, добиться хоть какой-нибудь справедливости. Но время шло, человек все поглядывал на часы, поглядывал на дверь, поглядывал на улицу и все больше убеждался, что даже здесь он ошибся в расчетах.

Внезапно он осознал, что прямо перед ним стоит некто и улыбается. В первое мгновение он не узнал этого лица, но чуть позже в мозгу его сложилась единая картинка из имени, внешних черт и связанных с ними воспоминаний. И человек неожиданно улыбнулся.

— Ларри Норден! — воскликнул человек.

— Гарри Итвел!

— Боже ж мой! Ну садись, садись.

— Я тебе не помешал?

— Нет, совсем нет.

Последний раз Гарри и Ларри виделись лет восемь назад, когда учились в одной школе. Особо близкими друзьями они никогда не были, но в такие моменты об этом как-то забываешь, погружаясь в ностальгические грезы и радость от случайной встречи.

— Но что привело тебя сюда?

— Так я здесь живу, — сказал Гарри. — Я теперь живу и работаю в этом городе. А ты?

— А я время от времени навещаю в эти края. Встречаюсь с друзьями. Ну, и как у тебя идут дела?

— Не так плохо, у меня все в порядке.

— Все получилось так, как ты задумывал? В вопросе угадывался намек на иронию, поэтому Гарри спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Просто вспомнил, каким ты был в школе. Всегда такой организованный. Я помню — сколько нам тогда было, восемнадцать? — как ты распланировал всю свою жизнь. Ты помнишь, как мы обожали беседовать о нашем будущем, о том, какой нам видится жизнь? Помнишь наши споры?

— Отлично помню.

— И все сбылось? Помнишь, ты говорил, что к двадцати пяти годам ты хочешь стать агентом по недвижимости', жениться, обзавестись домом и спортивным автомобилем?

— Ну, так оно и есть: я агент по недвижимости, я женат, у меня есть дом и машина. Все сбылось.

— Поразительно.

— А ты как? Ты говорил, что хочешь стать... дальнбойщиком! Поселиться в Испании и опубликовать роман.

— Точно.

— Так и получилось?

— Нет, я занимаюсь маркетингом для фабрики по плетению корзин, она неподалеку от Эшби-де-ла-Зух.

— О... — В голосе Гарри угадывалось разочарование. — И все же полагаю, ты счастливо женился?

— Да нет.

— Или обручился с какой-нибудь чудесной девушкой?

— Нет. — Ларри похлопал Гарри по спине. — Знаешь, не стоит переживать обо мне. Со мной всегда было так: дешево досталось — легко потерялось. Принимай жизнь такой, какая она есть. Никаких тревог. А

теперь ты... — Он откинулся на спинку стула и посмотрел Гарри прямо в глаза. — Я бы сказал, что тебя гложут тревоги.

Несколько секунд Гарри как-то нерешительно мялся, словно изо всех сил пытался изобразить стойкость. Но затем сдался.

— Не могу от тебя скрывать. Ты застал меня в очень неудачное время. С недавних пор все идет наперекосяк.

— Расскажи мне, Гарри.

Гарри выпил минеральной воды и вытер лоб; казалось, он не знает, с чего начать.

— Ну... ты понимаешь, каково это — чувствовать, что вся твоя жизнь у тебя под контролем? Что ты держишь в руках все нити?

— Нет. Не думаю, чтобы я хоть когда-нибудь чувствовал такое.

— Хорошо, но ты знаешь, что это такое — доверять кому-нибудь? Когда ты знаешь, в каких отношениях ты с человеком, даже если ты находишься от него далеко-далеко. Например... например, если ты совсем малыш и уютно свернулся в постели и спишь без задних ног, и ты потому так сладко спишь, что знаешь: твои родители сидят внизу, смотрят телевизор и думают о тебе, и поэтому все замечательно.

— Честно говоря, мои родители вечно либо лаялись, либо трахались. Но ладно, продолжай.

— Понимаешь, моя жизнь всегда была такой. Я всегда *знал*. Близкие мне люди — я никогда не позволял им устраивать мне сюрпризы. Ведь это так важно, правда? Иначе жизнь превращается в какую-то анархию. Мне всегда было важно знать, например, что в пять часов, как раз когда я встречаюсь с последним клиентом, Анжела в нашей кухне ставит на плиту жаркое. Вот такие крошечные уверенности и позволяли мне существовать.

— И что-то нарушило эти уверенности? Голос Гарри задрожал.

— Я выяснил, что она мне неверна.

Он сделал еще один глоток, а его друг наклонился вперед, положил руку ему на плечо и сказал:

— Расскажи-ка мне все.

* * *

Подозрения у Гарри возникли в тот момент, когда коллега по работе между делом сообщил, что как-то раз, в среду, во второй половине дня, его жену видели в гостиничном кафе. Гарри знал, что это невозможно, потому

что во второй половине дня его жена обязательно находилась дома и слушала радиопостановку по Радио-4. И вечером за ужином в ту самую среду она во всех подробностях пересказала сюжет спектакля, хотя впоследствии Гарри выяснил, что содержание было слово в слово взято из «Радио таймс». Как бы то ни было, поначалу он не воспринял этот случай всерьез, но когда коллега с очевидной неохотой сообщил, что его жену видели в компании с другим мужчиной и по ее поведению можно было заключить, что их связывают весьма близкие отношения, Гарри забеспокоился.

— Что же мне делать? — спросил он.

— Тебе повезло, — ответил коллега. — Я могу свести тебя с нужным человеком. Он вроде сыщика. Очень скромный, очень отзывчивый. Специалист по таким вот делам. Вот тебе визитка, можешь позвонить ему прямо сейчас.

И вскоре Гарри отправился по адресу в контору, расположенную над конюшней в самом бедном районе города. Под звонком он прочел имя: «Вернон Хампидж».

Мистер Вернон Хампидж оказался лысеющим печальным человеком; он немного походил на персонажа, которого Марвин Джонс играл в «Глубокой ночи». Мистер Вернон Хампидж быстро избавил Гарри от скованности и объяснил, что его работу можно разделить на две части — расследование и наблюдение. В данном конкретном случае, как он предполагает, может понадобиться и то и другое. Гарри согласился. Тогда мистер Вернон Хампидж пообещал предоставить полный отчет в течение семи дней.

Следующая их встреча состоялась ровно недель позже.

— Я сумел выяснить изрядно, мистер Итвел, — сказал детектив.

— Рад это слышать. Зовите меня Гарольдом.

— С превеликой радостью. Могу я задать вам несколько вопросов?

— Валяйте.

— Когда вы впервые встретились со своей женой?

— Около двух лет назад.

— Понимаю. Сразу после ее возвращения из Берлина.

— Простите?

— Вам известно, что ваша жена шесть месяцев работала официанткой в ночном клубе?

— Нет.

— Она бежала оттуда. Вскоре после развода.

— Развода?

— Конечно, она ведь была замужем, но об этом-то вы знаете. Но на самом деле, как я выяснил, тот брак никогда не был официально расторгнут; правда, тот человек проведет в тюрьме еще четыре года, так что пока нам не о чем беспокоиться. Это, так сказать, расследование.

— Мистер Хампидж, я ничего такого не знаю, — сказал Гарри, у которого от изумления лицо даже как-то осунулось.

— Теперь перейдем к наблюдению. Гарольд, вы можете утверждать, что твердо знаете, как ваша жена проводит дневные часы?

— Да, могу.

— На каком основании?

— На таком, что она мне все рассказывает.

— Ну хорошо, тогда смотрите. — И мистер Вернон Хампидж взял исписанный листок. — Что она делает утром?

— Она, э-э... она готовит чай.

— Верно. А затем?

— А затем мы вместе завтракаем, и я иду на работу.

— Тоже верно.

— Затем она убирает на кухне и вытирает пыль на первом этаже.

— Нет, боюсь, что это не так. Первое, что она делает после вашего ухода, — задирает ноги, наливает себе джина с тоником и закуривает.

— Закуривает? Моя жена не курит.

— Курит. Гаванские сигары. Вы этого не знали? Ну, хорошо, близится середина утра. Что она делает потом?

— Ну, я всегда считал, что она пьет кофе с печеньем... может быть, составляет список покупок, смотрит телевизор.

— Боюсь, вы ошибаетесь. Она звонит своему биржевому маклеру.

— Своему биржевому маклеру?

— Да. Она владеет акциями в пяти крупных компаниях легкой промышленности. Она много продает и покупает. Она вам не говорила?

— Нет.

— Как странно. Но о том, как она проводит обеденное время, вы, конечно, знаете?

— Ну, она сидит на диете. Обычно она смотрит новости и ест легкий салат с фруктовым соком. Разве нет?

— На самом деле она посещает местные пивные. Вчера она посетила «Бык и ворота», заказала бифштекс, пирог с почками, жареный картофель и две пинты горького йоркширского пива. Накануне она наведлась в бар на Дейл-стрит, заказала двойную порцию мяса в остром соусе и несколько порций виски. Иногда она ходит в пабы одна, иногда с приятелями.

— Но когда же она готовит ужин? Ведь требуется так много времени, чтобы приготовить чудесный ужин, которым она меня угощает.

— Ваши ужины — сплошные полуфабрикаты. Она заходит в магазин, когда возвращается из зала игровых автоматов.

— Игровых автоматов?

— Она любит поиграть. Три дня из последних четырех она сидела за «фруктовой машиной». У нее получается совсем неплохо — как правило, уходит она с большей суммой, чем приходит. — Мистер Вернон Хампидж остановился и поднял взгляд на Гарри. — Вас это тревожит, мистер Итвел?

Гарри уже надел пальто и теперь стоял у окна.

— Что потом? — спросил он. — Гостиница? Мистер Хампидж кивнул.

— В котором часу?

— В четыре.

Гарри направился к двери.

— Я не хочу больше ничего слышать, — сказал он, но тут же, словно спохватившись, спросил: — Всегда с одним и тем же?

Хампидж снова кивнул. И когда его клиент уже уходил, он ласково окликнул:

— Гарольд. — Гарри обернулся. — Вы знаете, никто не имеет права контролировать другого человека.

* * *

— Он был прав.

— Наверное, прав.

Гарри вымучил улыбку и вытер глаза. Старина друг, внимательно слушавший его, немного подумал, прежде чем сказать:

— Ты не против, если я сделаю несколько очень личных замечаний?

— Нет, совсем нет.

— Видишь ли, Гарри, откровенно говоря, мне кажется, что ты совсем не любишь свою жену. Я думаю, ты любишь то, чем она казалась... точнее, то, чем ты заставил ее казаться.

— Что ты такое говоришь?

— Я говорю, что тебя расстроило вовсе не то, что твоя жена тебе неверна. Весь твой взгляд на мир — он разбился вдребезги. И как раз вовремя. Нельзя строить жизнь на таких предположениях. Нельзя предполагать, будто люди станут вести себя именно так, как ты хочешь,

чтобы они себя вели. Жизнь хаотична. Случайна. Неужели ты только что это заметил?

— И мы ничего не можем сделать, совсем ничего, чтобы доказать, что мы держим собственную жизнь под контролем?

Последовало короткое молчание.

— Каким путем ты пришел в гостиницу?

— Вдоль реки, — сказал Гарри, не выказав никакого удивления.

— И о чем ты думал, пока шел вдоль реки?

— Я смотрел на нее, — сказал Гарри, — и спрашивал себя, насколько глубока она в середине...

— Вот тебе и ответ, — сказал друг. — Это единственный способ. Если ты действительно хочешь доказать, что имеешь контроль над тем, что с тобой происходит, если ты действительно хочешь разорвать порочный круг, то вот как ты должен поступить. — Он рассмеялся и похлопал Гарри по спине. — Но ведь ты хочешь совсем не этого?

Гарри благодарно улыбнулся в ответ и покачал головой.

— На самом деле ты хочешь чашку хорошего чаю и чтобы кто-то попросил этих парней сыграть что-нибудь повеселее. Так почему бы мне не пойти и не сказать им?

— Хорошо, Ларри. Спасибо.

Гарри отправился в туалет, вымыл руки и лицо теплой водой и с минуту постоял, привалившись спиной к стене и глубоко дыша. Он думал, что заплачет, ему даже хотелось заплакать, но слезы его подвели. Вместо этого он ощутил облегчение, в котором, если бы он сумел его проанализировать, наверняка распознал бы признаки былой убийственной самоуверенности. Больше всего в это мгновение его утешала мысль о том, что Ларри заказывает для него еще одну чашку чаю, что он ждет его, придумывает новые слова утешения и ободрения. Гарри с радостью сознавал, что опять обосновался в мыслях другого человека.

Поэтому и хорошо, что он не видел, как к их столику подошла Анжела, прошептала «Лоренс, дорогой», провела рукой по волосам Ларри и поцеловала его в губы. К тому времени, когда Гарри вышел из туалета, они исчезли.

Эмма опустилась на диван и оглядела гостиную своего маленького домика. Дело было не в том, что она устала, и не в том, что ей хотелось сейчас оценить гостиную, но она, по своему обыкновению, оделась и приготовилась к выходу слишком загодя, и теперь надо было как-то убить время. Ей нравилась гостиная. Входная дверь открывалась прямо сюда, и

гости, приходившие пообедать, всегда начинали с возгласа: «Какая чудесная комната!» А затем принимались разглядывать фотографии, сгруппированные по четыре на стенах: портреты в сепии прабабки и прадеда Эммы с семьями, сделанные примерно на рубеже века, — этим летом она привезла карточки из Эдинбурга. И вот теперь Эмма смотрела на предков и набиралась сил от их милостивого уныния, от твердой и непринужденной уверенности их взглядов. В грустном лице двоюродной прабабки, сидевшей неестественно прямо, она различила удивительное сходство с собой. На чердаке, куда они с отцом забрались однажды, чтобы выискать эти карточки в сырых картонных коробках, он поведал ей историю этой женщины: она вышла замуж молодой, овдовела молодой, и у нее никогда не было детей. В старости, на самом склоне лет, она отказывалась от лекарств и даже опубликовала ныне забытый учебник.

Эмме было приятно сидеть на диване и смотреть на семейные портреты, и вдруг она отчетливо поняла, что ей ни капельки не хочется идти на сегодняшнее свидание. Такое чувство возникло у нее не впервые. Эмма терзала себя страхами, что у нее никогда не будет настоящей светской жизни, но теперь, когда наконец появилась возможность с кем-то встречаться, на нее навалилась неуверенность. Она весь день не выходила из дома, и первая проблема заключалась в том, чтобы очистить машину от снега и завести. А потом ей надо заехать в винный магазин и купить какую-нибудь бутылку. А затем она будет дергаться из-за оставленной без присмотра машины — Хью живет не в самом безопасном районе. А во время ужина ей придется ограничивать себя по части спиртного, потому что надо ведь снова садиться за руль, чтобы вернуться домой. А все дороги, кроме главных, наверняка будут скользкими и опасными. И в довершение ко всему, действительно ли она хочет провести весь вечер с Хью, чье общество, как Эмма теперь понимала, она использовала в основном как противоядие обществу мужа?

Наверное, она без колебаний отменила бы встречу, если бы не страстное желание услышать что-нибудь новое о Робине. Если даже окажется, что оставшийся у Хью рассказ не очень интересен, то останется особое удовольствие, которое таят несколько часов непрерывных разговоров о Робине. Эмма не спрашивала себя, почему она так хочет выяснить как можно больше об обстоятельствах его смерти, не задавалась она и вопросом, когда первоначальное оцепенелое потрясение превратилось в желание понять и разобраться. С тех пор, как такое желание впервые посетило ее, понадобился примерно месяц, чтобы составить письмо Теду. Он ответил сразу и вежливо. Тед писал, что потрясен

известием о самоубийстве и что он понимает и сочувствует ее горю и ее ощущению причастности к смерти Робина. Тем не менее он полагает, что нелепо считать, будто Эмма хотя бы отчасти виновна в этой смерти. Если бы он мог успокоить ее, предложив какое-нибудь объяснение, он бы непременно так и сделал, но он чувствует себя таким же растерянным, как и она. Ничто из того, что произошло между ним и Робинсом в день их последней встречи, не предвещало подобного развития событий. Их разговор закончился воспоминаниями о студенческих годах, и вспоминали они с большим удовольствием. Тед искренне сожалеет, что ничем больше не в силах помочь; но, воспользовавшись данной возможностью, он возвращает ей блокнот Робина, который несколько недель назад обнаружил у себя в кармане пальто. В блокноте содержится первый из его рассказов. Наверное, он по ошибке прихватил его с собой.

Кроме того, Тед прислал ей рождественскую открытку и ксерокопию письма, из которого Эмма узнала массу ненужной информации о его семействе. Открытка стояла на каминной полке в ряду шести прочих открыток: в этом году их будет меньше, чем обычно. Двое знакомых приглашали ее встретиться с ними Рождество, и хотя Эмма в полной мере сознавала, сколь добрые чувства стоят за этими приглашениями, ее обидело подспудное предположение, что развод суть безнадежное одиночество и бесприютность. Ее вовсе не пугала перспектива встретиться Рождество одной, хотя она и решила, в основном под давлением родителей, на несколько дней съездить в Эдинбург. А пока ей удалось сделать новый дом, по крайней мере первый его этаж, более-менее сносным. Эмма заметила, что елка, стоявшая у лестницы, снова сбросила часть иголок, и обрадовалась предложению вооружиться пылесосом и занять себя, пусть и на несколько минут. Покончив с уборкой, Эмма наконец решила, что пора идти.

Для субботнего вечера народу на улице было совсем немного. В тот вечер человеческое присутствие ощущалось в Ковентри не пьяными шатаниями по тротуарам и не целеустремленным курсированием людских компаний между пабами и ночными клубами; присутствие это скорее проявлялось зажженными окнами, задернутыми шторами, далекой музыкой. Эмма представляла, что там, за входными дверями: вечеринки в самом разгаре, праздничные телеконцерты, спиртное рекой и дети, которых никто не гонит спать. Ей хотелось знать, чем занимаются Марк с Элизабет; во всяком случае, она предполагала, что Марк и Элизабет проведут эту ночь вместе, в том или ином месте. При расставании Марк и Эмма дали себе и друг другу банальное обещание остаться друзьями, но они не

сдержали этого обещания, ибо давно уже перестали быть друзьями — задолго до того, как разошлись. Эмма ничего не знала о том, что он делал в последние дни, и не сумела до конца подавить свое любопытство на этот счет. Рождественские открытки они, разумеется, друг другу послали.

Эмма поставила машину под янтарным уличным фонарем в нескольких домах от квартиры Хью. К этому часу снег уже засыпал все вокруг слоем толщиной в дюйм, а Хью почему-то не торопился открывать дверь, так что Эмма успела окончательно продрогнуть. Когда он наконец возник на пороге, вид у него был виноватый.

— У меня тут небольшие проблемы с вступительным блюдом, — объяснил он. — Кажется, я переборщил перцу.

— Привет, — сказала Эмма. — Я купила тебе вот это.

Она протянула ему бутылку, завернутую в лиловую бумагу.

— Привет, — сказал он. — Спасибо.

Он поцеловал ее в щеку, кольнув щетиной. Она поднялась вслед за ним по лестнице, недоумевая, зачем он надел галстук.

— Боюсь, основное блюдо немного припозднится, — сказал Хью, вводя ее в комнату. — Соседи по лестничной площадке запекали картошку, и я только сейчас сумел добраться до духовки.

— Ничего страшного. А я и не знала, что у вас общая кухня.

— Ну, обычно сложностей с этим не возникает. Ты не хочешь есть?

Эмма обнаружила, что она может либо сразу усесться за стол, либо сесть на кровать, которая была аккуратно застелена и накрыта покрывалом тоскливого болотного цвета. Чтобы отложить решение, Эмма прошла к книжному стеллажу и принялась разглядывать обложки. Ее всегда поражало, что Хью, который постоянно жил либо у самой черты бедности, либо за ней, так много тратит на книги, причем на книги, которые казались ей воинствующе непонятными и специальными. Труды по теории литературы стояли бок о бок с французскими оригиналами модернистских романов, кроме того, на полке обнаружилось несколько работ по музыкальной критике и средневековой английской поэзии.

— Ты действительно читал все это? — спросила она.

— Только некоторые, понятное дело, — ответил Хью, который как раз открывал бутылку, но прервался, чтобы показать ей чудовищно толстый том в мягкой обложке, который лежал на туалетном столике. — Просто приятно сознавать, что все эти книги находятся рядом. Вот... взгляни, я купил ее на этой неделе. Пойду принесу бокалы.

Эмма с недоумением взяла книгу, но села на кровать, вежливо раскрыв том, положила его к себе на колени и принялась дожидаться

возвращения Хью.

— А что, интересная книга? — спросила она.

— Честно говоря, я немного разочарован, — ответил Хью, протягивая бокал с вином. — Твое здоровье. Обычно от Фурнье ожидаешь прогрессивных взглядов, уж по крайней мере в отношении нарратологии, но, по-моему, у него начинают проглядывать ревизионистские тенденции.

— Понятно, — сказала Эмма. — Жаль.

— Такое случается, — заметил Хью.

— Но ведь жизнь продолжается. Основы общества от этого не рухнут.

— Несомненно. — Он забрал у нее книгу, слегка раздраженный тем, что ее ирония исподволь подкралась к нему. — Приятное вино.

— Спасибо.

— Ну. — Хью оглядел комнату, взглянул на два пустых стула, взглянул на кровать. — Не возражаешь, если я сяду рядом?

— Ничуть.

И он сел рядом. Кровать стояла у стены, что позволило ему откинуться назад, хотя Эмма продолжала сидеть прямо.

— Ты не находишь, что стол выглядит недурственно? — бодро спросил Хью.

Каким-то образом он раздобыл парные серебряные столовые приборы, два хрустальных бокала в стиле эпохи Стюартов, хлопчатобумажные салфетки и подставки с изображением охотничьих сцен. Кроме того, на столе имелась свеча, еще не зажженная, и маленькая ваза с цветами.

— Замечательно выглядит, — ответила Эмма. — Я и не знала, что из-за меня будет столько суеты.

— Всем нужно время от времени поднимать настроение, разве нет? — сказал Хью.

— Ты считаешь, что мне нужно поднимать настроение?

— Нет, я поднимал себе настроение, когда это все готовил. Приятно, когда нужно прикладывать усилия.

— А тебе нравится готовить для одного себя? Мне нравится.

— У тебя не было времени привыкнуть к этому, — сказал Хью. — Я обнаружил, что все новое начинает приедаться где-то после первых полутора лет.

— Ты хочешь сказать, что так и не нашел себе девушку? — спросила Эмма.

Она решила, что стоит его чуточку подразнить.

— Думаю, пора приниматься за суп, — ответил Хью.

Он ушел на кухню. Эмма зажгла свечу и села за стол.

— Я с сожалением услышал новость о тебе и Нике, — сказал Хью, разливая охлажденный суп из кресс-салата.

— Марк, — сказала Эмма. — Моего мужа зовут Марк.

— Прости. Конечно. Все равно, я с сожалением услышал об этом. Наверное, ты чувствуешь себя... наверное, для тебя это было немалым потрясением.

— Да нет. Удивительно, насколько быстро я приспособилась.

— Где теперь живешь?

— Купила себе дом. Небольшой типовой домик. Последнюю пару месяцев я делаю там ремонт и тем самым занимаю себя. Он очень милый.

— Я не переперчил?

— Нет. — Эмма перестала есть и задумалась. — Возможно, через какое-то время я почувствую.

Хью, не знавший, имеет ли она в виду перец или разрыв с мужем, ждал продолжения.

— Я хочу сказать, что время ведь поджигает. Я имею в виду детей. — Она вздохнула. — Я очень хотела детей.

— Хотела?

— Ну, сейчас я стараюсь об этом не думать. Смысла нет.

— Булочки, — спохватился Хью. — Я забыл булочки. — Он снова ушел на кухню, но вернулся очень быстро со словами: — Конечно, и я всегда хотел детей. Знаешь, я очень хорошо умею с ними ладить. У меня этот дар от природы. У меня уже есть племянник и племянница. Да, они любят, когда к ним приезжает дядя Хью. Но все равно, хочется своих собственных. Думаю, я скоро остепенюсь. Мне не хочется провести вот так всю свою жизнь.

— Ты говоришь очень уверенно, — с улыбкой заметила Эмма. — Считаешь, у тебя есть средства, чтобы остепениться?

— Сейчас, очевидно, нет. Но у меня есть перспективы.

— Какие?

— Ну, на днях я говорил с одним старшим преподавателем... Так вот, профессор Дэвис, заведующий кафедрой, судя по всему, скоро уйдет на пенсию.

— Ты хочешь сказать, что тебя назначат заведующим кафедрой английского языка и литературы?

— Нет, очевидно, что рассчитывать на такое глупо. Но ведь обязательно произойдет определенное перемещение по служебной лестнице. И где-нибудь наверняка образуется вакансия. А мое лицо на кафедре примелькалось.

— Ты считаешь это преимуществом.

Хью мгновение выдерживал ее взгляд, затем начал постукивать ложкой по краю тарелки.

— Пойду проверю картошку, — сказал он.

От мексиканских блюд ему пришлось отказаться, поскольку не было времени, чтобы купить все необходимое. Поэтому на второе он приготовил свинину в соусе из сливок и сидра. Когда блюдо оказалось на столе, Эмма перевела разговор на Робина.

— Я и подумать не могла, что он совершит такое, — говорила она. — Вообразить не могла. Представить не могла, что такая мысль придет ему в голову.

— Ну, ты ведь его почти не знала. Мне казалось, ты с ним встречалась всего раз или два.

— Но как раз это расстраивает меня больше всего — как адвоката. Ты целый час, а то и больше, разговариваешь с клиентом, а если поставить себе цель, за час о человеке можно узнать очень много, и потом тебе кажется, что ты уже хорошо знаешь его, тебе кажется, что ты понимаешь его. Для меня это милосердная профессия. В противном случае я не хочу ею заниматься. Но затем ты понимаешь — все это ничто. Ничто. Ты едва царапнул поверхность. Ты выяснил ровно столько, чтобы почувствовать свою причастность, ровно столько, чтобы расстроиться, когда все идет не так, но по сути ты не выяснил ничего, а потому и не сумел помочь.

— Робин не нуждался в помощи.

— Как ты можешь так говорить?

— Я хочу сказать, что никто ничего не мог поделать. А если мы начинаем думать, будто мы что-то могли изменить, то обрекаем себя на вечное чувство вины.

— А почему мы не должны испытывать чувство вины?

— Как свинина?

Эмма замешкалась, не зная, следует ли так легко оставлять тему.

— Вкусно, очень вкусно, — сказала она. — Но что-то становится жарковато.

— Сними джемпер.

Эмма сняла джемпер и аккуратно сложила на кровати рядом с пальто. Хью убавил пламя в газовом камине.

— Все эти вопросы, которые ты задаешь, — сказал он, — о которых пишешь Теду, с которыми приходишь ко мне, — если ты все это делаешь только для того, чтобы перестать испытывать чувство вины, тогда просто забудь об этом. Не думаю, что та история имеет хоть какое-то отношение к

его самоубийству. Я имею в виду обвинение.

— Почему ты так решил?

— Потому что, после того как это случилось, после того как ему предъявили обвинение, он выглядел совершенно счастливым. Казалось даже, что он немного повеселел. Если у него и была депрессия, то до этой истории. Во всяком случае, я так думаю.

— Не знаю, — грустно проговорила Эмма. — Не понимаю, почему я в этом копаюсь. Просто его смерть очень расстроила меня. По сути, я ведь его даже не знала. Для тебя это вообще, наверное, стало ударом.

— Должен признать, большой неожиданностью, — сказал Хью, наливая им еще вина. — Знаешь, тебе, наверное, стоило бы поговорить с Апарной, но она, похоже, уехала. Уехала из страны. — Он замер в задумчивости, наклонив бутылку, затем покачал головой и продолжил наливать. — Нет, это глупая мысль.

— Какая?

— Ты ведь с ней не знакома?

— Нет. О чем ты подумал?

— Я просто спросил себя... Смотри, два человека, одни в квартире на четырнадцатом этаже... ведь никто не знает, что там происходило. Она очень вспыльчивая женщина. Возможно, между ними произошла ссора, он чем-то ее обидел, завязалась борьба... кто знает?

Эмма не выглядела убежденной.

— Ты обещал мне показать последний рассказ, — сказала она.

— Через минуту, — ответил Хью. — Ты готова перейти к десерту?

Они ели свежие ананасы, мандарины, сыр и печенье. Хью приготовил кофе и устроился на кровати. Эмма осталась за столом.

— Тебе там удобно?

— Спасибо, нормально.

— Тебе все еще жарко?

— Нет, нормально.

Хью задумался, а удастся ли ему поговорить с ней о чем-нибудь, кроме Робина. От отчаяния он спросил:

— А что ты думаешь об этой квартире?

— Очень мило. А тебе не нравится?

— Нет, мне наскучило здесь. Подумываю о переезде. — Последовало изрядное молчание. — Он большой, твой новый дом?

— Нет, просто маленький домик.

— Как раз на одного? Или есть место для кого-нибудь еще?

Эмма посмотрела на часы.

— Хью, я и не думала, что уже так поздно. Замечательный ужин, действительно замечательный. Мне надо еще добраться до дома, а там гололед и все такое. Можно мне взглянуть на рассказ?

Хью встал и показал на ночной столик.

— Он там. Пока будешь читать, я вымою посуду.

Хью вышел. Эмма взяла чашку с кофе и перебралась на кровать. С минуту она держала блокнот на ладони. Затем аккуратно открыла и принялась читать — настолько быстро, насколько позволял неряшливый почерк.

Минут через пятнадцать Хью вернулся и сел рядом с ней на кровать. Казалось, Эмма закончила читать: она задумчиво смотрела на последнюю страницу.

— Ну что, узнала что-нибудь? — спросил он, отваливаясь к стене.

— Да, — ответила Эмма. — Думаю, что да. Очевидно, что все это было у него на уме. В том месте, когда Лоренс говорит, что самоубийство — это хорошая идея, потому что оно демонстрирует, что ты контролируешь свою собственную жизнь... Разве это не соответствует поступку Робина?

Хью покачал головой.

— Это все кокетство. Этот рассказ в наименьшей степени отражает подлинные мысли Робина. К тому времени он потерял ко всему этому интерес. Если бы он писал серьезно, он написал бы совершенно по-другому. Примерно об этом он вот здесь говорит...

Хью перевернул страницу и показал на несколько строк, накоябаных карандашом.

В ЭТОМ РАССКАЗЕ ВСЕ НЕ ТАК, — писал Робин.

Избавиться от Хампиджа. Найти другой сюжетный ход.

Неуместный юмор.

Сохранить основу сюжета, но выбросить два последних абзаца, чтобы весь рассказ держался на последнем разговоре между Лоренсом и Гарольдом.

Они детально и подробно обсуждают достоинства самоубийства.

Лоренс начинает с цитаты из Симоны Вайль, которая иллюстрирует различный подход к жизни у персонажей:

«Есть два способа убить себя: самоубийство и безразличие».

— Кто это? — спросила Эмма, показав на незнакомое имя.

Хью придвинулся ближе, всмотрелся в каракули.

— Какая-то француженка, — ответил он. — Давай выпьем еще вина.

— Я за рулем, — сказала Эмма, слишком поздно, чтобы помешать ему наполнить бокал.

— Тебе не обязательно садиться за руль. Она не обратила внимания на эти слова.

Остальная часть заметок Робина была, судя по всему, написана значительно позже: шариковой ручкой и более крупным почерком, но разобрать его было еще труднее.

Еще одна цитата из СВ. (Не это ли произошло?)

«Для тех, чье „я“ мертво, мы не можем сделать ничего, абсолютно ничего. Но мы никогда не знаем, действительно ли „я“ конкретного человека совсем мертво или лишь безжизненно. Если оно не совсем мертво, его, подобно инъекции, способна оживить любовь, но это должна быть в высшей степени чистая любовь без малейшего намека на снисходительность, ибо даже легкая тень презрения подталкивает к смерти».

— Эмма, — сказал Хью. — Эмма, взгляни на меня.

«Если „я“ уязвлено извне, оно восстает самым крайним и самым мучительным способом, словно загнанное животное. Но как только „я“ оказывается наполовину мертво, оно желает, чтобы его добили, и позволяет погрузить себя в бессознательное. Если затем оно пробуждается от прикосновения любви, возникает острая боль, которая порождает ярость, а порой и ненависть к тому, кто вызвал эту боль. Отсюда, по всей видимости...»

Здесь запись обрывалась. Эмма пыталась понять эти слова, догадаться, почему Робин их переписал, и вдруг она почувствовала, как к ее плечу прикоснулась рука. Рука гладила ее голое плечо, забравшись под блузку. Хью навалился на нее всем телом, рука скользнула вниз, к ее груди. Эмма оттолкнула его и неловко поднялась на ноги.

— Ты что делаешь? — спросила она, пытаясь подавить дрожь в голосе.

Хью не ответил. Она сурово посмотрела на него, увидела, что на его лице мешаются похоть и тоска, и не сумела разозлиться.

— Я здесь не за этим. Ты должен это понимать.

Хью тоже встал, но приблизиться к Эмме не решился.

— Прости. Я глупо поступил. Не подумал.

Эмма поразмышляла над этими словами, вздохнула. Казалось, больше говорить не о чем.

— Я лучше пойду.

Она взяла джемпер и пальто, направилась к двери.

— Нет, Эмма, пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, останься. Прости. Я же сказал — я не подумал.

Она уже вышла на лестницу, но повернулась, чтобы ответить:

— Тогда пора начать думать, Хью. Может, дать себе такое обещание к Новому году? Нам обоим. Давай оба начнем думать с этого момента.

Последние слова донеслись уже с улицы, хлопнула входная дверь. Печально и горестно Хью посмотрел на оставшуюся на столе еду, потом опустился на кровать, чувствуя головокружение; озадаченный Эммой, Робинотом, самим собой; в висках пульсировало от выпитого вина.

* * *

В ту ночь Эмма долго не могла заснуть, но когда все-таки заснула, сон ее был глубок и спокоен. Проснулась она от яркого полуденного света, заливавшего спальню, окрашивавшего стены и потолок в теплый, чистый белый цвет. Она медленно вытянулась на своей узкой кровати, укутанная уютом; и события предыдущей ночи, медленно всплывшие на поверхность ее сознания, показались далекими и нереальными.

Она позавтракала в залитой солнцем гостиной. С воскресной почтой принесли еще открытки, и лишь покончив с ними и с воспоминаниями, которые вызывали открытки, Эмма поймала себя на мысли, что думает о приписке к последнему рассказу Робина. Слова вспоминались с трудом. Эмма не знала, что случилось с блокнотом. Она хотела забрать его с собой, но, скорее всего, в суматохе оставила у Хью.

От этих мыслей Эмму отвлек шум на улице. Громко и навязчиво завывал двигатель, подбадриваемый криками, которые, судя по звуку, издавала целая толпа. Эмма подошла к входной двери и выглянула наружу. Прямо напротив ее дома застрял в снегу фургон, который оставили на ночь на небольшом склоне. Задние колеса яростно вращались, а восемь-девять человек, в том числе соседи Эммы, пытались вытолкнуть фургон из сугроба.

— Вам помочь? — крикнула Эмма.

— Да уж почти справились, милая, — ответил человек из дома

напротив, чей сын и был владельцем фургона. — Еще разок толкнуть, и все в ажуре.

Под аккомпанемент криков, смеха, указаний, тяжелого дыхания, надрывного рева двигателя и летящего прямо в лицо снега все дружно навалились на фургон и радостно загалдели, когда машина сдвинулась с места. Все вместе они смотрели, как автомобиль тяжело ползет в гору.

— Давай, Рон!

— Подбавь газку, сынок!

Когда фургон, выпустив облако выхлопных газов, исчез за горкой, все захлопали и загалдели с удвоенной силой.

Соседи расходиться не спешили, продолжая болтать, изо рта у них валил пар; обхватив себя руками, они приплясывали от холода.

— А пошли к нам, — пригласил отец Рона. — Пропустим по стаканчику.

Его жена заметила, как Эмма в нерешительности мешкает у тротуара, тогда как остальные, энергично отряхивая снег, толпятся на крыльце. Она мягко взяла ее за руку и улыбнулась.

— Пойдем, милая. Согреешься.

Эмма все еще пребывала в ошеломлении от внезапного холода, солнечного сияния, отражавшегося от заледеневшей дороги и задних стекол фургона, удивительной веселости компании. У нее сохранилось смутное воспоминание, что, перед тем как выйти из дома, она собиралась подумать о чем-то важном.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо, это будет чудесно.

Постскрипtum от Апарны

Среда, 28 октября 1987 г.

Порой, после долгого отсутствия, ты возвращаешься в место, с которым у тебя связаны болезненные ассоциации, а такое возвращение всегда чревато непредсказуемыми ощущениями. У тебя есть определенные ожидания: что конкретная улица, или комната, или кафе вызовут у тебя определенное чувство, и ты удивляешься, когда этого не происходит. Но еще удивительнее та внезапная боль от видов или мест, про которые ты никогда бы и не подумал, что они обладают способностью столь сильно ранить. Так оно и произошло, когда я вернулась в Ковентри. Все те места, которые я боялась увидеть вновь — моя квартира, улицы, по которым я шла до дома от автобусной остановки, студгородок, где хранилось большинство моих вещей, — все это оставило меня равнодушной: я была спокойна и уверена в себе. Но затем среди дня, когда у меня выдалось час-два свободных, мы поехали в другую часть города, где жил Робин. Это более дорогой район, и среди этих ухоженных домиков и уютных семейных особняков с их грустной застенчивостью, с какой они занимают место под солнцем, я обнаружила отголоски печального присутствия Робина. Стоял холодный и солнечный осенний день, день резких очертаний, и улицы выглядели такими реальными, а ведь я уже начала надеяться, что они мне пригрезились. Мы припарковались, и я повела Йозефа посмотреть на дверь в квартиру Робина. Квартиру опять сдавали; новый жилец подошел к окну и подозрительно уставился на нас. Я мало что могла рассказать. Я уже поделилась с Йозефом этой историей, он примерно знал, о чем я думаю, и не пытался нарушить мое молчание.

Через несколько месяцев после смерти Робина одна испанская студентка, с которой я какое-то время была дружна, прислала мне приглашение на свадьбу. Я приняла приглашение и отправилась в Испанию, прекрасно зная, что никогда не вернусь к своей научной работе. Заняв у родителей денег, я путешествовала девять недель, проехав через Испанию, Францию и Германию, где и познакомилась с Йозефом. Он стал мне добрым другом, он принес мне огромное счастье, такое счастье, какого я никогда не ждала и которое даже не считала возможным после всего, через что я прошла, после всего, что я видела. Удивительно, что теперь я не

так уж часто вспоминаю о Йозефе. Тот день был нашим последним днем, но мои мысли настолько были заняты Робинот, что мне нечем было поделиться с Йозефом, даже болью расставания, но, думаю, мы оба были только рады этому.

Я так и не решила ничего в отношении Робина. Я по-прежнему не знаю, могла ли я ему помочь. Я пыталась быть доброй, хотя теперь понимаю, что в тот день я была не очень добра, но слишком поздно понимаю. Нам следовало тратить поменьше времени на разговоры, на споры, на размышления о нашей писанине и тратить побольше времени на размышления друг о друге. Возможно, нам следовало спать в одной постели и утешать друг друга печальными ночами. Но Робин не умел выбирать друзей, и, наверное, ему не следовало выбирать меня. Как друг я должна была сказать ему, что от природы он не такой уж индивидуалист и одиночка, что люди, которыми он восхищается, никогда не примут его, что дорога, по которой он идет, — это на самом деле дорога к горестному изгнанию. Или эти слова должен был сказать ему кто-то еще. Кто-то из друзей.

В тот момент, когда день начал угасать, превращаясь в сумерки, мы с Йозефом вернулись к машине и приступили к последнему этапу нашего совместного путешествия. Когда мы выезжали за пределы Ковентри, я произнесла безмолвное «прощай» этому городу, который был разрушен дважды, один раз бомбами иностранной армии, другой — экономическим спадом, устроенным отечественными политиками, городу, который за последние несколько лет совсем разложился, поистине разложился, источая бездействие и равнодушие, выедаая у людей работу и средства к существованию. Но люди здесь все равно сохранили веселость и чувство юмора; они смотрят на темную сторону жизни, но жалуются не больше, чем прочие их соотечественники. Когда я здесь жила, у меня сложилось впечатление, что никто вокруг по-настоящему здесь не думает. И вот в машине мне вдруг хотелось опустить стекло и закричать изо всех сил: вы должны думать, думать, думать о том, что творится вокруг вас Думать, пока от усилий и от тревог не заболит голова. Знаете, думать — это не всегда опасно. Это убило Робина, но вас это не убьет.

Но я ничего не крикнула. День был холодным, и мы не опускали стекол. А в самолете, при заходе на посадку случилось нечто похожее: я увидела огни родного города, и по всему телу пробежал холодок; в памяти всплыли лица мамы и отца, и мне стало страшно и очень хорошо. Я не забыла, что родина может быть самым странным местом на свете.

notes

Примечания

1

В 1986 г. ВВС США нанесли бомбовый удар по Триполи, столице Ливии; Вестминстер — политический центр Великобритании, где размещаются Букингемский королевский дворец, парламент и т. д. — Здесь и далее прим. перев.

Слово «фнорд» (fnord) — из разряда неопределимых, с ускользающим смыслом. Впервые оно было использовано в трилогии Уилсона «Иллюминатус». Это своего рода пароль для посвященных, для адептов киберпанка во всевозможных его проявлениях. Означать оно может что угодно, но, по сути, «фнорд» — это фи́га в кармане и одновременно шутка-пароль, которая проставляется после фраз, которые могут оказаться шутками, а могут таковыми и не оказаться. Увидеть фнорды может только тот, кто знает и понимает. Фнорд.

3

Персонажи фильма «Магазин за углом» (1940) немецко-американского режиссера Эрнста Любима (1892–1947).

Группа французских художников конца XIX века, находившаяся под сильным влиянием творчества П Гогена.

Роман английского писателя Ивлина Во (1903–1966).

Английский многосерийный телефильм.

Так называют время гражданской войны в Ирландии 1919–1923 гг.

Благотворительное общество, которое помогает людям, оказавшимся в бедственном положении, особенно замысливающим самоубийство.

Так в Англии одно время называли феминисток.

Поэма Т. С. Элиота (1888–1965), американского поэта, лауреата Нобелевской премии (1948).

Содержание

[ДЖОНАТАН КОУ Прикосновение к любви](#)

[Замечание от автора](#)

[Часть первая Встреча разумов](#)

[Часть вторая Везучий человек](#)

[Часть третья Милые бранятся](#)

[Часть четвертая Невезучий человек](#)

[Постскриптум от Апарны](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)